

# **Вячеслав Яковлевич Шишков**

## **Емельян Пугачёв**

### **Книга 2**

#### **Часть 1**

#### **Глава 1**

### **Строители столицы. Заморские диковинки. Возле хмельного чана**

#### **1**

Молодой Санкт-Петербург застраивался, хорошел.

Нева, Фонтанка, Мойка, каналы одевались в тесаный гранит.

Отечественные и западноевропейские зодчие состязались в искусстве воздвигать величественные дворцы, хоромы вельмож, казенные палаты, храмы.

Многие десятки тысяч крестьян, покинув убогие, под соломенными кровлями, деревни, устремлялись на заработки в Петербург, чтоб скопить деньжонок на уплату оброка помещику. Чрезмерным трудом, ценою болезней, а нередко и смерти, влача зачастую существование

беспризорных псов, они с большим радением приукрашали царствующий город.

В иные незадачливые годы, когда лихорадки, желудочные заболевания и другие недуги нещадно косили строительных рабочих, пятая часть их ложилась «костями» в заболоченные земли Петербурга, и тысячи кормильцев не возвращались к своим семьям.

Рабочий люд стремился в столицу со всех концов страны. Из Белоруссии двигались землекопы, из Ярославской губернии — каменщики, штукатуры и печники, из Костромской — плотники, столяры, из Галичского уезда — «комнатные живописцы» и маляры, Олонецкий край давал мраморщиков и гранильщиков. «Мастера книгопечатания» были главным образом зыряне, выходцы из Вологодской губернии. Тульский край доставлял коновалов, кучеров и дворников, Тверская губерния — сапожников.

Только по одной московской большой дороге ежегодно проходило через заставу в Петербург до двадцати тысяч пешеходов. Да немалое число крестьян приплывало в столицу водой на плотах, баркасах и баржах с грузом строительных материалов.

Еще с зимы разъезжали по деревням мелкие подрядчики из ловких москвичей и ярославцев или приказчики крупных подрядческих контор. С

разрешения помещиков они вербовали крестьян, давали им в задаток по рублю на семью, заносили в шнуровые книги, ставили условие быть в столице к пасхе, к началу строительных работ.

С весны Петербург становился оживленным, многолюдным. Через все заставы вливались в город партии крестьян, прибывших со своими старостами на строительные работы. Ежели староста бывалый человек, он вел артель сразу к квартире подрядчика. Большинство же пришельцев, с пилами, топорами, сундуками, кошельми, валило на площадь возле Синего моста чрез Мойку, недалеко от дворца графов Чернышевых. Здесь издавна было нечто вроде биржи труда — место найма рабочих, прислуги, а иногда и продажи рабов. Огромное скопище народу уже часов с четырех утра занимало всю площадь, оба берега Мойки, мост. Одни, сбросив с плеч инструменты, стояли, опершись на заступ или заложив мозолистые руки за спину, другие сидели на парапетах, на камнях, а третьи, утомившись, спали прямо на земле, положив под голову берестяной кошель.

Сбитенщики, пирожницы, лоточники, что «под брюхом лавочку носят», сновали между крестьянами.

— А вот сбитню горячего!..

— Кэ-эпченой рыбы!.. Сиги-и, стерляди!  
Кэ-эпченой рыбы!

— Пирожков крупчатых, пирожков!

Мужики облизывались, сплевывали, крутили бородами — им не до пирожков: эвот полдни скоро, а рабочего народу нисколь не убывает... Чего ж это хозяева-то не идут?

Но вот подъезжают, подходят приказчики, мелкие подрядчики. От артелей отделяются старосты, вступают в торг с нанимателями. Торг идёт и час, и два. Старосты божатся, бьют себя в грудь, указывают руками на артель: «Да ты, милый, глянь, какие молодцы-то!.. Да они черта своротят... Прибавляй, не обижай землекопов-то...»

Староста Пров Лукич сбавляет по полтине, подрядчик прибавляет по гривеннику. «Тьфу ты, скупердяй!» — плюет староста и отходит к своим посовещаться. Подрядчик, насулив обидно малую цену, идёт дальше.

Тогда вся артель кричит ему:

— Стой, стой!.. В согласи мы... Эх ты, сквалы-ы-га! Время зря проводить не охота, а то бы...

— А не хотите, как хотите. На ваше место тыщи набегут... Только свистни! — Подрядчик, в синей чуйке, нахлобучивает картуз со светлым козырем и машет мужикам рукою:

— Ладно, шагай за мной, ребята!

— Айда, братцы! — И вся артель в тридцать человек зашевелилась.

Артельная стряпуха, курногая, толстощекая, изрытая оспинами Матрена, взвалила на загорбок мешок с добром, продела руки в лямки, приготовилась идти.

— Будите рыжего-то. Ишь, черт, храпит, словно у себя на полатях! Эй, Матюха, вставай, дьявол!

— Да никак он нажравшись! Три ему уши хорошенько. Митька, Митька!

Двинулись, расталкивая толпу локтями. Рыжебородого пьяного Митьку ведут под руки; глаза у него закрыты, он с трудом переставляет ноги.

Вот на паре вороных подъехал в великолепном экипаже крупнейший столичный подрядчик Барышников. Не вылезая из фаэтона, он отдавал приказания двум подбежавшим к нему приказчикам:

— Вы, ребята, за рублем не гонитесь. Сулите цену настоящую — лучше стараться будут. Да и жрать станут посытней — глядишь, и хворости середь них помене будет. А то учнут животами маяться, работы не жди!

— Так-с, так-с, так-с, — подобострастно поддакивали приказчики. — Число душ по спискам прикажете?

— Даже сверх можно! Плотников занадобится первой руки полсотни человек, второй — сотню.

Каменщиков — человек триста пятьдесят, достальных по списку...

— Этак, Иван Сидорыч, восемьсот душ выйдет, — замечает один из приказчиков, — а подвалов-то у нас снято на четыреста...

— Ну, ежели на четыреста сняли, так туда и всю тысячу вбять можно.

Не господа, не подохнут!

Барышников приказал толстозадому кучеру (в клеенчатой шляпе и в запашном, синего сукна, кафтане с талией под мышками) ехать к Казанскому собору, затем на угол Невского и Владимирской, затем на Сенную площадь и Никольский мост. Во всех этих местах пильщики, маляры, каменщики, чернорабочие каждый божий день терпеливо ожидают найма. Барышников велел своим многочисленным десятникам завербовать не менее двух тысяч человек.

Он участвовал в постройке огромного дворца для графа Григория Орлова, а также в облицовке гранитом берегов Мойки.

В позапрошлом году от строительных работ Барышников положил в карман сорок тысяч чистоганом, в прошлом — шестьдесят, а нынче, «ежели божья воля будет», собирается он нажать не менее сотни тысяч. Да еще откупа приносили Ивану Сидорычу огромные доходы. Теперь он был по-настоящему богат.

С тех пор как продал он земляку свой питерский трактир, Барышников заметно пополнел, как будто стал выше ростом; он записался в купеческую гильдию, со вкусом одевался в немецкое платье, имел для выезда карету и четверку кровных лошадей, снимал хорошую квартиру. Теперь Иван Сидорыч больше походил на богатого провинциального помещика, чем на бывшего прасола и дельца, во время Семилетней войны ограбившего фельдмаршала графа Апраксина.

Его неотвязно обольщала мысль заделаться помещиком, быть неограниченным владельцем живых душ. Но, при всем своем богатстве, он оставался человеком низшего сословия, что лишало его права приобрести на свое имя землю с крепостными крестьянами.

Впрочем, закон строг и незыблем лишь для сырых и смиренных, богатому же да нахрапистому человеку всякий закон не трудно обойти. В конце концов Барышников может скупить сколько угодно земли и сколько угодно мужиков не лично на себя, а на любое подставное лицо. Уж кому-кому, а Ивану-то Сидорычу Барышникову найти для такой роли верного человека не составляло труда: ему вся знать знакома, даже есть кой-какая зацепка и при дворе.

День был праздничный, солнечный. Возле Синего моста любопытства ради чинят променады петербургские щеголи: канцеляристы из коллегий, стряпчие, молодые офицеры, приказчики-гостинодворцы, заезжие помещики с женами и прочий праздный люд.

У Синего моста стоят шеренгой желающие наняться в услужение: толстобрюхие, румяные повара при фартуках и в белых колпаках, конюхи в безрукавках и начищенных сапогах, бородатые дворники с метлами. Вот отдельная группа чисто одетых, подтянутых, бритых, припудренных молодцов.

Это — лакеи. Они нагло и презрительно посматривают на проходящих скромных барынек, но пред светскими господами, подъезжающими на рысаках, вытягиваются в струнку, отвешивают манерные поклоны, придавая своим лицам рабски покорное выражение.

— Послушай, как тебя... Выйди! — манит мизинцем, вылезши из кабриолета, знатный барин.

Лакей стремительно вырывается вперед, останавливается — руки по швам — перед господином, чуть набок склоняет голову, весь превращается во внимание. Слух его ловит несколько небрежно брошенных вопросов:



— Сколько лет? Где служил? Как звать? Почему меняешь службу? Есть ли рекомендации? Вольный или крепостной?

Не повышая голоса, стараясь придать фразам особую заученную интонацию и выразительность, отчетливо и внятно лакей отвечает господину. Тот оглядывает с головы до ног стройную, рослую фигуру молодца, красивое лицо его с быстрыми, смысленными глазами. «Человек» ему нравится.

— Грамотен ли ты, Жан?

— Да, ваше сиятельство. Читаю книги, романы, почерк в письме имею добрый. В случае семейного торжества могу составить пиитическое приветствие. При досуге исполняю на скрипиче заунывные и веселые пьесы.

— Давно ли из деревни, Жан?

— Седьмой год, ваше сиятельство. Прямо от сохи. Грамоте обучался самоуком, при досуге...

Барин немало дивится способностям будущего своего лакея, говорит ему:

— Сегодня же обратись в мою контору... Знаешь? Там тебе объявят условия и зачислят в штат.

— Мерси бьен, ваше сиятельство. — И Жан — или, как он числился по паспорту, крепостной помещика Трегубова, Иван Пряников, — одернув фрак и набекренив поярковую шляпу, пошагал к месту своего нового служения.

В другой части города, на Никольском мосту, стояли старые и молодые няньки и кухарки, в повойниках, платочках, чепчиках. За ними — живописная шеренга рослых, полнотелых кормилиц. Они в цветастых сарафанах, в тончайшего полотна белейших сорочках с пышными рукавами и в высоких кокошниках, чрез шею — связки бус. У некоторых на руках младенцы.

Малокровные петербургские барыньки в сопровождении лакеев или горничных, с пренебрежением проходя мимо низкорослых, щупленьких кормилиц, направляются то к одной, то к другой краснощекой, дородной женщине. Они просят кормилиц расстегнуть сорочку, пристально осматривают груди, щупают их, желая определить, достаточно ли туги, избыточно ли могут дать молока.

Сухопарая, в седых локонах, старуха, за которой лакей бережно таскает на руках жирного мопса с прикушенным кончиком языка, осмотрев молодую женщину, сказала ей:

— Я тебя, голубушка, пожалуй, возьму. Я беру мамку для своей дочки, адмиральши, — ей бог даровал сына-первенца. Скажи, ты крепостная али вольная? И кто твой муж? И как тебя зовут?

— Зовут меня Татьяной. А мужа у меня нету, барыня. Я вдова. Да я вам опосля расскажу, вы

будьте без сумления, — стыдливо опустила Татьяна синие, под темными ресницами, глаза. Ей и впрямь совестно было рассказывать о себе чужой барыне.

Жизнь молодой Татьяны сложилась так. Ее, сироту, девчонкой купил за семь рублей забулдыжный офицерик из мелкопоместных дворян, некто Вахромеев. Был он пьяница и картежник, жил на Литейной, в квартире из трех маленьких комнат. Сам занимал две комнаты, а в темной, выходящей окном в стену, жили три молодые купленные им девушки. Новую, Татьяну, поселил он в каморке под лестницей. Девушки ежедневно уходили к мастерице-швее, с утра до ночи обучались шитью и вышиванию гладью. Стала к швее ходить и Татьяна.

Из рассказов старого солдата, коротавшего жалкую жизнь в кухне и бесплатно работавшего на офицера в должности денщика, стряпухи, няньки и прачки, Татьяна узнала, что офицер за пять лет купил до тридцати молоденьких девчонок. Он обучал их какому-либо ремеслу, а когда они входили в возраст, развращал их; красивых иногда сдавал выгодно в аренду на месяц, на два своим холостякам-сослуживцам, затем перепродавал девушек с большим барышом в качестве домашних портних, кастелянш или горничных, а на их место приобретал за гроши новых. Он кормил своих рабынь скудно, одевал плохо, потому девушки

волей-неволей должны были тайком от господина снискивать себе пропитание. Вечерами они заглядывали в кабаки или на купеческую пристань с целью подработать деньжонок своими прелестями. По словам денщика, одна из девушек года три тому назад заболела дурной болезнью и заживо сгнила, другая от тоски повесилась, третья бросилась в Неву, но была спасена. Офицеру все это сходило с рук.

Был случай при Татьяне. Пришли к офицеру три торговца коврами, три чернобородых перса, ради покупки девушек на вывоз в Персию. Показывая товар лицом, офицер велел трем девушкам раздеться. Персы пришли от молодых красоток в восхищение и, не жалея денег, купили их по триста рублей за душу — цена по тому времени необычайно высокая. Так как закон воспрещал продавать живой товар на вывоз за пределы государства, то офицеру Вахромееву пришлось в обход закона, по совету стряпчего, составить с персами официальное договорное условие, по которому хозяин отдавал девушек якобы в обучение ковровому мастерству сроком на двадцать пять лет каждую.

Девушки с отчаяния, что их вскорости увезут невесть куда — на чужбину, предались столь неутешному рыданию, что на их вопли сбежался со всего квартала народ.

— На расправу! Офицера на расправу! Персюков на расправу! Бей их! — шумел, осведомившись о причине девичьего горя, народ. В окна квартиры Вахромеева полетели камни.

Явившийся наряд полиции, установив, что сделка совершена на законном основании, нагайками разогнал толпу. Защиты и спасения проданным девушкам не было.

Войдя в возраст, Татьяна стала любовницей офицера. Она ненавидела своего тирана, но, чтобы избавиться от постыдной жизни, у нее были только два пути: побег или самоубийство. Но бежать — это значит быть пойманной, наказанной кнутом и снова водворенной к господину. Оставалась смерть!

Умирать Татьяне не хотелось. Она неустанно молила бога, чтоб лиходей скорей продал её в какое-либо семейство. Но Вахромеев привязался к ней и не желал с ней расставаться. Она забеременела от него и родила.

Однако настал конец. Офицер проиграл в карты казенные деньги, его пришли арестовать; он схватил пистолет и застрелился. Что же после этого произошло с Татьяной? Нашлись добрые люди, которые помогли ей стать вольной. Дело разбиралось в одном из столов юстиц-коллегии. Дознано было, что самоубийца не имеет наследников, кроме новорожденного сына, мать которого, Татьяна Пирогова, крепостная

самоубийцы, после судебного разбирательства объявлена вольной.

Через неделю ребенок умер, и вот Татьяна решила попытать счастья в кормилицах.

Пока барынька осматривала молодую женщину, вся недолгая жизнь промелькнула в её сознании, как тяжелый сон. Ей едва минуло девятнадцать лет, но глаза её задумчивы и скорбны. Только одно тяжелое видела она в жизни и на собственном опыте убедилась, что каждый человек имеет свою страшную судьбу, исполненную несчастий. «Пройди сквозь всю землю, ни единого человека не сыщешь счастливого», — говаривал бывало девушкам мудрый старый денщик офицера-самоубийцы.

Все это пришло Татьяне как-то вдруг, и такое смятение охватило её душу, что она почти ничего не слыхала, о чем расспрашивала её барыня.

— Три рубля в месяц будешь получать на всем готовом. Согласна ли?

— Согласна, — ответила Татьяна и, всхлипнув, заплакала.

— Идем. Кормилицам плакать нельзя, молоко прогоркнет. Садись на дрожки, милая... Степка, пошел!

Шестидесятилетний беззубый Степка зачмокал, задергал вожжами. Дрожки двинулись, затахтели, увозя свободную Татьяну из плена в

плен.

### 3

Солнце светило ярко, по-весеннему. Косые лучи его оживляли стройную перспективу улиц, кудрявую молодую зелень в садах и скверах, праздничные группы нарядно разодетых прохожих, лакировку шикарных карет, лоск выхоленных рысаков, легкие крылья порхающих в небесной синеве белых голубей.

Белокипенными брызгами рябилась Нева, а золотой шпиг собора Петропавловской крепости, подобно огненоносному копыю, вонзался в небо.

Многочисленные челны, душегубки, лодки да нарядные, разукрашенные резьбой «рябики» знатных вельмож, правительственных коллегий и частных предпринимателей скользили по каналам, Фонтанке, Мойке и Неве. Этих любимых жителями средств передвижения было в столице не меньше, чем лошадиных упряжек. На иных рябиках гуляли по праздничному делу пьяненькие, с гармошками, песнями, балалайками и выпивкой. Шумно и весело было на воде.

Вот увеселительный рябик князя Юсупова, похожий своим убранством на богатую венецианскую гондолу; в корме — просторный балдахин, украшенный портьерами малинового

бархата с мишурной золоченой бахромой, в середине — места для двенадцати гребцов, в носу — хор песенников. Рябик играет под солнцем яркими красками, резьбой и позолотой. Гребцы сильные, загорелые красавцы, одеты в шитые серебром, вишневого цвета куртки, на головах шляпы с пышными перьями. Под балдахином старая княгиня с внуками — девочкой и мальчиком, два лакея, калмычонок в красном жупане, немка с англичанкой.

Хор песенников в двадцать человек складно запекает:

*Как у ключика у  
гремучего,  
У колодезя у  
студеного  
Добрый молодец сам  
коня поил,  
Красна девица воду  
черпала...*

Протяжная грустная песня плавно катилась над невскими водами.

— Суши весла! — скомандовал из-под балдахина молоденький барчонок в морской форме.

Белые весла были враз подняты. Вода стекала с лопастей хрустальными брызгами. Гребцы



дружно пристали к хору. И как только ударила песня, на всех ближних рябиках сразу все смолкло. Как маленькие рыбешки, они окружили просторный рябик Юсупова и, держась на некотором от него расстоянии, всей флотилией двинулись вслед за ним по течению.

Старинная русская песня своим словесным складом и величием напева всех очаровывала, будила в сердце давно забытое, родное. Обаянию песни прежде всех поддались подвыпившие и пьяные: они трясли головами, косили набок рты, всхлипывали. Старушки устремляли усталые глаза вниз, жевали губами, вздыхали. Влюбленные девушки и молодые люди брались за руки, смотрели друг другу в глаза, как в волшебное зеркало, и, внимая песенным голосам, таинственно улыбались.

Юсуповский рябик остановился посреди реки, а песня плыла, плыла:

*Как возговорил  
добрый молодец:  
«Где ж любовь твоя,  
душа-девица?  
Ты зачем мое сердце  
вынула,  
А сама дала  
обещаньице*

*Моему врагу быть  
женой навек?..»*

— Мочи весла! Приналяг! — скомандовал барчонок.

Рябик пошел к Васильевскому острову, к пристани купеческих иностранных кораблей. Там иноземные гости торгуют разными диковинками.

Вот сюда-то, в этот любопытный уголок столицы, и отправилась ради развлечения внуков старая княгиня Юсупова.

Сюда же катил на своих кровных рысаках и богач Барышников. Ему хотелось подобрать какой-нибудь любопытный презент для Алексея Григорьевича Орлова; с пустыми руками являться просителем в графский дом дело неподходящее.

На пристани Васильевского острова — как на ярмарке. Не один десяток больших и средних парусных кораблей под иностранными флагами был пришвартован к деревянной, из рубленых ряжей, набережной. Все палубы и берег завалены бочками с рыбой, икрой, сливами, маслинами, виноградным вином, английским эльбиром, олифой. Тут же лежали штабелями джутовые мешки с сахаром, рисом, орехами. Поверх штабелей, прикрытых сложенными парусами, спали в разных позах утомленные ночной гулянкой матросы. На скатанных в круг просмоленных канатах, на

кнехтах сидели, покуривая трубки, или прохаживались по палубе караульные боцманы и вахтенные.

Сегодня воскресенье — выгрузки нет, трюмы заперты на замки, ключи у хозяев. Хозяева либо пьют вино с русскими купцами в своих каютках, либо толкуются среди гуляющей публики.

Пахнет соленой рыбой, смолой, олифой, сыростью, перебродившим вином.

На поверхности воды играют солнечные блики.

На пристани и на берегу, под вековыми дубами с молодой листвой, идёт торговля. Чернобородые греки и кудрявые, оливкового цвета, итальянцы продают разноцветных попугаев, крохотных, с грецкий орех, изумительного оперения колибри, одетых в теплые кофточки мартышек, шимпанзе, тропические растения, ароматические снадобья и прочие редкостные вещи. А вот моряки-голландцы с бритыми лицами и курчавыми рыжеватыми бородами, растущими от уха до уха из-под нижней челюсти. Они в кожаных жилетах, в кожаных с наушниками шапках, в коротких штанах, белых чулках и грубых, неизносимых туфлях с толстыми подошвами. Голландцы торгуют небольшими сочно написанными натюрмортами в золоченых рамах, а также шоколадом, жирными селедками в

стеклянных бочоночках, кружевами, отрезами тончайшего голландского полотна. Ряд иноземных моряков-спекулянтов растянулся почти на версту — шведы, датчане, норвежцы, англичане, турки в красных фесках. У каждого приколот к шапке или к куртке ярлык с правом на розничную торговлю. Коммуникационные столичные комиссары, проверяя ярлыки, не упускают случая воспользоваться от торгующих матросов мелкой взяткой.

Многочисленная гуляющая публика покупает диковинки с большой охотой, они приятны и недороги.

Какой-то франтик купил тросточку с рукояткой в виде обнаженной женщины; группа офицеров с хохотом рассматривает и покупает гравюры, изображающие «секретные акты» любви, соборный протоиерей подбирает по глазам очки: наденет и, морща нос, заглянет в страницы карманного евангелия. Купчиха сторговала ларчик, оклеенный цветными ракушками; монашенка соблазняется кипарисовыми образками с Афон-горы; пьяный немец-булочник с Невского проспекта ищет шнапсу, из карманов его белой куртки торчат две терракотовые фляги рижского бальзама. Большим спросом пользуются апельсины и финики в стеклянных банках.

Обе стороны объясняются знаками, мимикой

или пишут цену на бумажке.

Барышников хотел купить огромного страуса, что тоскливо стоял привязанным за ногу к дереву, но подошел бывший царский денщик Митрич, узнал, что страус предназначается в подарок графу Алексею Орлову, и отсоветовал:

— Не примут-с... Они не таковские!

Барышников сказал:

— Хотелось мне попугайчика говорящего купить, да все неподходящие, лопочут не по-русски.

— Да, да! — ответил Митрич, поглядывая на сотни клеток с шумно кричавшими на все лады попугаями. — Вот ежели бы найти такого попугая, чтоб поматерно ругался... Холостые господа ругательных птичек сильно уважают. Знавал я такую птаху у графа Захара Григорьевича Чернышева. Она птичка могла выражаться на двенадцать ладов. Она, бывало, матерится, а господа от хохота чуть на пол не падают.

— Кто же обучал-то ее? — спросил всерьез заинтересованный Барышников.

— А её отдавали в науку олонецким пильщикам в ночлежку.

Барышников, пробиваясь локтями через толпу, отвел Митрича в сторону, разъяснил ему цель предстоящего визита к Орлову и показал ему изумительной работы небольшой черепаховый, с

золотой инкрустацией, ларчик.

— Ужели и этот не примет?

— Не примут.

— Ну, а коль я сей ларчик золотыми червонцами набью?

— Они в деньгах не нуждаются... Что им деньги? Толкнитесь-ка вы, батюшка, лучше к братцу их, к Ивану Григорьичу. Братец и даяние ваше примет и дело с вами сделает. Таково мнение мое... А впрочем, вам видней.

— Гм, — сказал Барышников, — надо подумать. А ты что тут, Митрич?

— Да так я, скуки ради. Старуха моя от водяной болезни умерла. Поил, поил ее, голубушку, настоем из черных тараканов — знатец один советовал — а она, царство ей небесное, вся водой и взялась. Теперь один, как перст.

Скучно. То к ней на могилку схожу, то в Александро-Невский монастырь — ко гробнице приснопамятного благодетеля моего императора Петра Федоровича...

Ох-тих-ти...

— Иди ко мне служить. И тебе хорошо будет и мне честь — бывший императорский лакей при моей особе.

Огромная бородища Митрича зашевелилась от кривой улыбки. Он снял шляпу — лысина засияла под солнцем — и низко поклонился

Барышникову:

— Премного благодарен вам, батюшка. Да ведь стар я.

— А я и не буду утруждать тебя больно-то. У меня лакей молодой есть.

А ты станешь главным. Я тебе форму справлю с такими галунами, что ты и при дворце-то не нашивал. У тебя медали-то есть?

— А как же, батюшка, четыре штучки-с... А сверх того офицерский крест. Вся грудь увешена.

— Ну, стало быть, не надо лучше! Беру тебя!

— Сам государь изволил приколоть мне крестик-то. Оба мы с ним пьяненькие тогда были. Он говорит: «я, говорит, Митрич, люблю тебя... как папашу своего... На-ка, грит, носи. Да смотри, береги меня пуще». И при сих словах изволил снять крест со своея груди и мне приколоть. А вот я и уберег его... Ловко уберег благодетеля... — Митрич отвернулся, замигал, засопел, по его щекам покатились слезы.

— Не тужи. У меня тебе не хуже будет. У меня в намерении такие дела заворачивать, что ахнут все.

— Премного благодарствую. Я в согласьи.

Старуха Юсупова остановилась возле места, где продавали привезенных негров — под видом отдачи их в услужение богатым вельможам. Во дворец Юсуповых как раз требовались два негра.

Был у них один, но состарился, да кроме того, граф Шереметев имеет у себя четырех негров, а Юсуповым в чем бы то ни было отставать от Шереметевых не хотелось. Старуха сторговала двух негров — одного плечистого, средних лет богатыря, другого — лет тринадцати мальчика с печальными глазами. Она заплатила высокую сумму, втрое превышавшую цену за хорошего русского слугу. Княгиня с внуками села в подкатившую за ней карету, поручив лакею с полицейским доставить негров на дом в рябике.

По её отъезде разыгралась сцена, заставившая многих даже из видавших виды случайных зрителей содрогнуться. Старуха Юсупова не знала, что ей придётся навеки разлучить отца с сыном. Если б она знала это, она купила бы вместе с мальчиком и отца его или же отказалась бы от покупки сына.

Когда отец, уже седоватый, но мускулистый, плотный человек, увидел, что его сына уводят, а он остается и, может быть, будет продан где-нибудь в другом государстве, он бросился к плачущему детищу; сын повис на его шее и замер. Белки огромных глаз отца засверкали, толстые губы скривились в страшную гримасу, обнажив ряд белейших, как саксонский фарфор, зубов. Он обнял сына, и вся его коренастая фигура напряглась, как бы приготовившись к защите этого тихого



мальчика, единственной его радости в жизни.

— Бери! — И лакей с полицейским подошли вплотную к мальчику.

Отец, скрежеща зубами, принялся отчаянно что-то выкрикивать гортанным голосом и изо всех сил отлягиваться от лакея. Затем он обрушил на голову полицейского такой сокрушительный удар кулаком, что тот слетел с ног, вторым ударом он разбил лицо лакея. А когда на чернокожего набросились матросы, он расшвырял их и с диким воплем бросился в Неву. Его кинулись спасать, подплыли на двух лодках, вытащили за шиворот, но он, выхватив из кармана бритву, на глазах у сына перерезал себе горло.

Со всех сторон сбегались люди. Толпа враз воспламенилась, как подожженный стог сухого сена.

— Видали, братцы? Иноземец жизнь свою решил!.. Стало, не сладко и ему доспелось.

— На чужбине, братцы, он... В чужой земле... Пожалеть человека надо.

— Хоть он и черный, а душа-то у него, может стать, побелей, чем у иного барина.

— А вот уж поглядим, какова у наших бар душа!.. Грудины-то им вспорем!

— Мало им крепостных-то своих, так из-за морей ищут потехи ради!

— Накажет их за это господь батюшка!

— Да еще как накажет-то!.. Цари им мирволят да потворствуют, а всевышнего не купишь!

Всех сильнее шумели набежавшие строительные рабочие, барская челядь, мастеровые.

#### 4

Артель землекопов вместе со своим старостой, долгобородым Провом Лукичом, и подрядчиком пришагала, наконец, к двухэтажному каменному дому на Сенной. Подрядчик вытер платком вспотевший загривок и повел артель в полуподвальное помещение. Комната хотя и большая, но для тридцати душ довольно тесная; потолок — рукой достать, стены сырые, два небольших оконца. Нары в два ряда, скамьи, стол — вот и все убранство.

— А печка-то где же? Как же хлебы-то выпекать да обед варить станем? — спросил староста. — Мы без печки не согласны.

— Не будет печки, мы лопаты в руки да и были таковы, — зашумела артель.

— Ну ладно, не орите, — сказал подрядчик. — Я кирпич предоставлю, а печника найдете сами.

На том и порешили. Подрядчик объявил распорядок:

— На работу, ребята, становиться в пять утра,

с работы уходить в девять вечера, перерыв на обед — два часа.

— Ой-ой-ой! — зачесали землекопы в затылках. — Стало, это сколько же часов на тебя пуп-то надрывать? Эй, Лукич, а ну смекни.

Староста, пригибая к ладони пальцы и пошевеливая губами, сказал:

— Выходит, ребяташки, четырнадцать часов чистых... Много, хозяин.

— Много и есть... Да ты сдурел! — закричала артель. — Сквозь сутки, что ль, работать. Эй ты, мохнорылый черт! Не согласны мы без прибавки...

— Я вам прибавлю, окаянные! — зашумел на крикунов подрядчик. — Я вам так прибавлю, что своих не узнаете...

— Ну, так уж и не прогневайся, — раздались голоса. — Уж в таком разе так и работать тебе станем: разов десяток землю колупнем да и за раскур!

— А это вот на что? — сказал подрядчик, угрожающе потряхивая жилистым кулаком. — Ахну — зубы сцакают. А нет — в часть да портки долой, только говори, где чешется.

Артель присмирела. Подрядчик ушел.

Корявая тетка Матрена достала из кошелья завернутую в чистый платок икону богоматери, достала молоток с гвоздями, приложила к иконе, забрала в рот гвозди и полезла прибивать образ в

передний угол. Она трудилась с иконкою, а тридцать человек, разинув рты, смотрели на нее. Староста командовал: «Выше, ниже, правой чуток... Ладно, колоти!» Когда икона была водружена, все стали креститься на нее, вздыхать.

Староста послал Матрену на рынок купить чего-либо поснедать всухомятку. А под вечерок пускай она собирает всех в баню. После же бани они, всем скопом, пойдут в трактир горяченького попить — как он называется... чай, что ли? Да и водочки можно будет пропустить по махонькой.

Матрена ушла. Лукич сел за стол, вынул из сундучка записную книгу, чернильницу с гусиным пером и счеты.

— Садись, ребята. Надо нам расход-приход смекнуть, — сказал он и надел грубой работы очки. — Значит, милые, робить мы будем с первого числа мая до Покрова, всего пять месяцев. Договоренная плата наша — по сорок копеек на день. Это в месяц ложится, выключая праздники, за двадцать пять ден... — он стал щелкать на счетах костяшками, — в месяц, стало быть, ложится десять рублей ровно. А за все пять месяцев на кажинную душу набегает по полсотни рубликов. Верно?

Все присмирели, внимательно вслушиваясь в речь вожака. Напряженная тишина нарушалась лишь мерным похрапыванием спавшего на нарах пьяного Митьки.

— На прохарченье сколько класть, ребята?

— Клади по три целковых на месяц с рыла, — сказал молодой паренек с заячьей губой, — по два пятака на день.

— Больно жирно! — замахали на него руками. — Клади, Лукич, по рублю на месяц.

— По рублю мало, ребята, — проговорил староста. — Давайте по два целковых, а там видно будет, можно и убавить.

Дальнейшие разговоры показали, что из пятидесяти рублей всего заработка каждый должен был уплатить своему барину пятнадцать рублей оброка да два рубля в месяц на харч — то есть десять рублей за все пятимесячное рабочее время.

— Вторым делом, ребята, кто за обедом будет материться — портки долой и по сидячему месту ложками лупить, — предложил староста.

— Ха-ха-ха! Согласны! — развеселились землекопы.

— Третьим делом, чтобы к нашей стряпухе Матрене ни-ни-ни... Она бабочка тихая, я пообещал ейной матери-старухе блюсти ее...

— Блюди, блюди! — опять захохотала артель. — Замок повесь ей либо колокольчик валдайский.

Староста забрякал на счетах костяшками, сказал:

— Стало быть, судари мои, ежели скостить

оброк, да харч, да прогульные, всего-навсего домой вы припрете, не много, не мало... по двадцать три рубля, — сказал он и вдруг закричал:

— Стой, стой! А себя-то я с Матреной, старый хомяк, забыл! Мне, ребята, как еще в деревне уговор был, по рублю с носу за труды за мои да Матренушке по полтине — ей делов выше головы будет.

Матрена приперла на себе хлеба, квасу, сеченой капусты, репчатого луку.

— Вот, мужики, — сказала она. — Харч здесь-ка дорогой: оржаной хлеб решетный грош фунт, а ситный-то копейка... А к мясу и приступу нет: говядина фунт три копейки, а свининка-то четыре — по базарной росписи, говорят...

— Пусть свинину баре жрут, — возразил парень с заячьей губой.

Помолились. Принялись за еду. Лукич расправил бороду, взял деревянную ложку, сказал:

— Эй, мужицкое крошево, кисло да дешево! Хлебай, робя!

## 5

Пьяница рыжебородый Митька перед началом работ направился, по примеру прошлых лет, в церковь, чтоб подать священнику «трезвую записку» с зарокон не прикасаться к вину до

положенного времени.

Сначала он зашел в церковную сторожку, битком набитую такими же, как и он, бражниками. В унылых позах, с мутными глазами, стояли они перед седым дьячком, строчившим «трезвые записки». Когда очередь дошла до Митрия, дьячок спросил его:

— Сколько кладешь?

— Богу две копейки, тебе грошик.

— Маловато, чадо. По носу вижу, что ты питух горький, бесов возле тебя вьется, как возле меду мух. Клади богу три копейки, священнику две, мне копеечку.

Митрий согласился. Дьячок, пофыркивая носом, стал скрипеть гусиным пером по бумажке:

«Раб божий Димитрий зарекается пред престолом господним к вину не касаться до Михайлова дня, сиречь восьмого ноембврия, а ежели он, раб божий, зарок допрежь срока нарушит, да будут ему на том свете муки лютые».

Дьячок прочел, получил мзду, спросил:

— Ты, поди, неграмотный? Тогда становь вот здесь крестик.

После обедни все сто двадцать пьяниц слушали особый молебен о ниспослании винопивцам воздержания. Затем священник отобрал от каждого записки, подсунул их под престол и сказал:

— Кто напьется до положенного срока и не смоеет сего греха покаянием, того ждут великие беды.

Все новые трезвенники вышли из церкви в глубоком унынии. Стиснув зубы и глядя в землю, они в озлобленном молчании расходились по домам.

\* \* \*

Староста Лукич вскоре направился на постройку Мраморного дворца, чтобы пригласить работавшего там своего земляка Ваньку Пронина сложить артели русскую печку. На огромной постройке трудились главным образом рабочие Барышникова. Здесь было более четырехсот человек. Работами распоряжались приказчики да десятники, а главным командиром был смотритель Петр Петрович Рябчиков. Он когда-то служил при сенате старшим писчиком, хапнул крупную взятку со вдовы-помещицы, начальства не спросив и с начальством не поделаясь, а поэтому и выгнан был со службы «за пьяные дебоши и предосудительное поведение». Вида он был свирепого: пучеглазый, лохматый, жилистый. Ходил руки назад, закусив зубами нижнюю губу. Через плечо — плеть. Он почти ежедневно пьян с утра, имел привычку пакостно ругаться, был также «ерзок на руку». К



месту постройки приходил раза два в день, и тогда его сиплый от перепоя голос гремел не переставая, наводя на рабочих уныние и страх. Остальное время зритель проводил по трактирам, иногда валялся пьяный где-нибудь в канаве.

Проходя мимо разговаривавшего с печником Прова Лукича, зритель вытянул старика плетью. Лукич круто обернулся к обидчику, крикнул:

— Это за что же? А?..

Зритель, потряхивая плетью, как ни в чем не бывало пошагал дальше, окруженный приказчиками. Они уже успели наклеузничать ему на некоторых нерадивых, по их мнению, рабочих.

Подойдя к артели плотников, со всем старанием занятых своим делом, Рябчиков рывкнул:

— Который?

— А вот курносый, шея шарфом обмотана, — шепнул приказчик.

Зритель взял курного парня за шиворот и нанес несколько ударов плетью. Запуганный парень не посмел даже пикнуть.

День был субботний. В Петропавловской крепости, как раз через Неву, против постройки, куранты отбили шесть раз. По городу заблаговестили ко всеобщей. Рабочие сняли шапки, покрестились и снова принялись за дело.

Даже под праздник им льготного времени не было. А многим вот как хотелось сходить в

церковь, душу отвести: послушать знаменитых певчих, поглазеть на народ, на благолепное служение.

Печник Ванька Пронин, разминавший на подмостках глину, сказал Прову Лукичу:

— Ты, отец, пройдишь по набережной, а через часок-другой опять приходи. Эвон, видишь, возле забора палатка белеет да флачок метлится, — ну-к об это место и приходи.

Лукич так и сделал. Погулял, полюбовался на зеркальную Неву, на рябики, на увенчанный архангелом золотой шпиг Петропавловской крепости, посмотрел, как сотни две солдат копрами сваи на Невской набережной бьют, наконец, пришел к палатке, что в углу строительного участка, и присел на штабель скобленных бревен.

У палатки стоял огромный дубовый чан с железными обручами. Возле чана — высокий одноглазый человек с мочальной бороденкой, при фартуке и в черном картузе. Лукич с удивлением заметил: на вбитых по краям чана гвоздях висели рубахи, картузы, портки, сапоги, даже лапти, и прочий ношенный скарб. «Что такое?» — подумал он.

С воли, с площади скорым шагом приблизился к чану черномазый, с серьгой в ухе, малый и резким голосом крикнул одноглазому:

— Ведро!

Одноглазый почерпнул из чана ведро жидкости и перелил её через воронку в две полуведерные фляги. Черномазый забил фляги деревянными с тряпкой втулками, запихал в мешок, взял мешок под мышку и ушел.

«Вареная вода, должно», — подумал Лукич и направился к одноглазому напиться.

— А ну, приятель, почерпни-ка водички мне, — сказал он, — угорел чегой-то я — знать, с селедок, страсть пить хочется.

— На сколько тебе? — спросил тот и подергал за протянутую меж кольями веревочку. Висевшие на ней оловянные посудинки в виде черпачков задрыгали, заплясали, как блестящие рыбки. — На копейку, на две, а вот эта — на три, в ней три глотка добрых.

— Да бог с тобой, — поднял Лукич голос, — да ведь её вон сколько в Неве, водицы-то твоей...

Кривой всхохотнул бараньим голоском:

— С такой воды, браток, живо угоришь, и лапти вверх. Не вода это, а самая забористая сивуха. Хлебнешь — упадешь, вскочишь — опять захочешь.

— Ты лясы-то, вижу, мастер точить. Ярославец, что ли?

— Нет, мы московские, — ответил кривоглазый, поддев из чана трехкопеечным черпаком сивухи. Он понюхал её и стал тихонечко

выливать обратно, очевидно, пытаюсь соблазнить старосту. — Эх, добро винцо!

Барышниковское! Ведь я не от себя, а от господина подрядчика Барышникова.

У него пять таких распивочных... У него, у Барышникова-то, мотри, в пяти местах стройка идёт по Питенбурху, а в шестом — в Царском Селе — пруды он чистит. А вон тот парень, с серьгой в ухе, что ведро взял, этот от меня вразнос торгует.

— Так-так-так, — поддакивал Лукич и, указав на развешанное вокруг чана барахлишко, спросил:

— А это что же?

— А это... Кое пропито, кое в залог сдадено. Вот за эти самые сапожнишки недопито восем посудынок трехкопеечных. Сегодня суббота, хозяин придёт, бог даст, допьет.

Оказалось, что кривой арендует палатку у Барышникова за тысячу рублей и наживает, по его собственному признанию, чистоганом рублей шестьсот.

— Куда ж тебе, грешный ты человек, этакую прорву денег? — сердито спросил кривого Пров Лукич.

— Хах, ты, — и одноглазый снова засмеялся бараньим голоском. — Ну и дед-всевед! Задом в гроб глядишь, а ума не нажил. Первым делом — избу я поставил себе новую на Васильевском острову; вторым делом — корову-удойницу да

лошадок завел... Да вот графу Шереметеву платить надо, барину своему.

— Из крепостных, значит? Да ты бы выкупил себя на волю.

— Хах, ты, — опять хахнул кривой. — Он, брат, граф-то Шереметев, никому воли не дает, не-е-ет, брат! Многие его крепостные мужики в Питере да в Москве в купцах ходят, в ба-а-ль-шущих купцах! Взять моего соседа из нашей деревни Митрия Ивановича Пастухова — о-о-о, главный во всем Питере богач, самой первой гильдии купец и фабрикант великий! Он к графу-то, к Шереметеву-то, на четверке рысаков подъезжает, не как-нибудь. Во, брат, какие мужички есть! Это понимать надо, — и кривоглазый целовальник, захлебнувшись хвастливыми словами, вскинул палец вверх. — Уж он бы, Пастухов-то наш, мог бы на волю откупиться, он графу миллион сулил, да граф не отпускает. Вот каков граф-то Шереметев, барин-то наш!.. А ведь он, гляди, не гордый. Пастухова-то иным часом к обеду кличет... Призовет, а там уже целая застольица князьев, графьев да генералов. Ну, Митрий Иваныч обхождение знает, со всеми об ручку поздоровкается, сам в лучшем наряде, под бородой да на грудях медали со крестами; сидит в кресле честь-честью, наравне во всеми пьет-ест. А граф подымается со стаканом в руках да и говорит: «Ну,

господа, тепереча выпьем мы за моего мужичка, за Митрия Иваныча Пастухова, он мне миллион давал, чтобы я его на свободу выпустил, а я не хочу. Мне антиресно, — говорит, — что в крепостных у меня такие мужики. Ведь вот он, миллионщик, пожалуй, всех вас, господа, с потрохами купит, — а я, промежду прочим, могу его, как раба, сейчас же на конюшню отправить и порку дать».

— Да уж не врешь ли ты? — усомнился Пров Лукич. Он заинтересовался рассказом, стоял возле чана, расставив ноги и опершись подбородком на длинную палку с завитком.

— Тьфу ты! — рассердился целовальник. — Мне сам камердинер его сиятельства сказывал. А знаешь, сколько купец Пастухов платит Шереметеву оброку-то?

— Да, поди, тысяч с полсотни в год?

— Десять рублей всего! — закричал целовальник, и его большой кадык задвигался вверх-вниз по хрящеватому горлу. — Вровень со мной платит... Не берет больше граф! Понял ты это?

\* \* \*

Вскоре ударил сигнальный колокол.

— Шабаш, шабаш! — раздавались всюду близкие и далекие выкрики.

К целовальнику подбежали два подростка.

— Что, пострелята, запозднились? — строго сказал целовальник. — Надевай скорей фартуки! — и, обратясь к Прову Лукичу, проговорил:

— Это наследники мои, отцу помогать прибежали.

Толпы рабочих быстро расходились по домам. А человек с полсотни, перескакивая через котлованы, канавы, штабеля, мчались, как бешеные кони, к чану, чтобы занять поскорей очередь. Несколько позже набежали рабочие с чужих соседних строек.

— Налетай, налетай! — оживился целовальник, улыбаясь одним глазом. — Не все вдруг, по одному да почаще, по одному да почаще!

Прибежал и печник Ванька Пронин.

— Пров Лукич! Шагай скорейча, — кричал он земляку. — Угощай, отец!..

Магарыч с тебя.

Лукич примостился с ним в очередь. Все, глотая слюну и держа в руках кто головку лука, кто кусок хлеба с селедкой, начали чинно продвигаться к чудодейственному чану.

Длинный конопатый дядя принялся упрашивать хозяина отпустить ему два глоточка в долг. Целовальник замахал на него руками:

— Проваливай, проваливай!.. Ведь ты же заработок получил.

— Получил, да не пришлось мне ни хрена! Старик у меня умер, в деревню довелось послать денег-то. Да вот помянуть родителя-то, царство ему небесное, желательно.

— Сымай рубаху, — скомандовал конопатому хозяин. — Шевелись, копайся, в руки не давайся.

— Как же я голый по городу пойду? Без рубахи-то?

— Разувайся... Только сапожнишки твои гроша медного не стоят.

Влас стал, ругаясь, разуваться. Целовальник приказал сынишке перевязать сапоги лычком и повесить на вбитый в чан гвоздик.

Влас, не торгуясь и не спросив, какую цену целовальник кладет на сапоги, вместо двух глотков выпил с горя четыре трехкопеечных ковшичка, по три хороших глотка каждый. Затем, шатаясь, отошел в сторонку, опустился на колени, стал усердно креститься на Петропавловский крепостной собор, бить земные поклоны и, пофыркивая носом, приговаривать:

— Упокой, господи, душеньку родителя моего Панфила... Эх, батька, батька...

А целовальник деловито кричал ему:

— Эй, богомолец! Рыжий! За сапожнишки твои тридцать копеек кладу, пропил ты двенадцать.

Влас только рукой махнул, а люди зашумели:

— Уж больно обижаешь ты народ, Исай



Кузьмич... Худо-бедно — рублевку стоят сапоги-то. Они, почитай, новые.

Подошел лохматый мужичок-карапузик в рваной однорядке с длинными, не по росту, рукавами и в обмызганном, нескладном, как воронье гнездо, картузишке. Весь облик его — жалкий, приниженный, виноватый. Он поднял на долговязого целовальника свое изможденное, с козьей бородкой и редкими усиками лицо, подморгнул и прошептал стыдливо:

— Пять чепурушек трехкопеечных, Исай Кузьмич... На, получи! — И он сунул ему горстку медяков.

Целовальник особым, среднего размера, ковшиком поддел порцию пойла и подал карапузику. Тот вздохнул, перекрестился и жадно прильнул к ковшу губами. Целовальник крикнул:

— Пей над чаном! Сколько разов вам толковать! А то наземь текет добро-то.

— Ладно, — просипел мужичок, послушно перегнулся над чаном и с наслаждением, закрыв глаза и причмокивая, принялся тянуть из ковшика.

Вино, омывая усики, бороденку, подбородок, покапывало в чан.

И вдруг, когда уже в ковше засверкало доньшко, грязный засаленный картуз сорвался с головы питуха, шлепнулся в чан, как большая утка в озеро, и утонул.

— Ах ты, сволочь! — зашумел целовальник. — Четыре копейки штрафа с тебя.

Все захохотали. Парень с веселыми глазами крикнул:

— Пошто он утонул-то? Чугунный, что ли, утя картуз-то?

— Трубка в нем цыганская, — засипел испугавшийся карапузик, утирая мокрый рот подолом рубахи. — В кулак ростом трубка-то, глиняная.

Выудив со дна утопленные вещи, целовальник забросил трубку в репей, а набухший вином картузище принялся, ради пущей экономии, выжимать, выкручивать над чаном, как прачка белье. Выжав почти досуха, целовальник со всей силы хлестнул мужичка картузом по щеке.

К чану неожиданно подошел с воли все тот же широкоплечий малый с серьгой в ухе и, как в первый раз, резко отрубил, словно в медную доску булатным молотом ударил:

— Ведро!

В стороне стояли двое беспоясных, подававших прошлое воскресенье священнику «трезвые записки». Они впились взорами в тех, что глотали водку, и то и дело густо сплевывали, скоргоча зубами; на их напряженных лицах холодная испарина.

Один, не выдержав, ткнул себя кулаком в

грудь пониже бороды, хрипло закричал:

— Зарок, так твою! Заррок!.. — и быстро пошагал прочь. По дороге он сгреб камнище и, выпучив глаза, швырнул его в пробегавшую собаку.

— Заррок!..

Другой из зарочных, с печалью посмотрев приятелю вслед, остался на месте. Вся душа его, видимо, стремилась к чану, но упрямые ноги будто вросли в грунт; посмеиваясь, люди говорили в его сторону:

— Мученик! А ведь, все одно, нарушит... Днем раньше, днем позже — обязательно обманет бога-то.

## **Глава 2**

### **Интимные вечера в Эрмитаже. Волшебные устрицы. Бунтишка**

#### **1**

Целовальник в своем рассказе Прову Лукичу действительно против истины приукрасил очень мало.

Весь город говорил об именитом купце — крепостном крестьянине графа Шереметева; весь город дивился необычайному русскому мужику, пришедшему в столицу с пустой котомкой, в лаптях

и сумевшему стать миллионером, дивился и одному из графов Шереметевых, который за свои несметные богатства был прозван Младшим Крезом.

Поводом к этим разговорам был званый обед в великолепном дворце графа Шереметева, что на Фонтанке. Среди высоких вельмож и знатных лиц, приглашенных на обед, присутствовал в качестве почетного гостя и хундорный мужичок, подлый раб графа Дмитрий Иванович Пастухов.

\* \* \*

Эрмитаж — что значит: келья, убежище отшельника — был самым любимым во дворце местом Екатерины. Здание Эрмитажа, сооруженное французским зодчим Деламотом в 1765 году, выходило на Неву и было соединено с Зимним дворцом аркой, переброшенной через Зимнюю канавку. В Эрмитаже помещались театр и картинная галерея, основание которой положил Петр I. При Екатерине уже насчитывалось более двух тысяч картин знаменитых европейских мастеров.

Здесь Екатерина проводила интимные вечера среди близких своих людей, и быть приглашенным на такой вечер считалось большой честью. Гости и хозяйка подчинялись правилам, сочиненным в

шутливой форме самой императрицей.

Например: «1. Оставить все чины вне дверей, равномерно как и шляпы, а наипаче шпаги... 3. Быть веселым, однако и ничего не портить, не ломать и ничего не грызть... 5. Говорить умеренно и не очень громко, дабы у прочих уши и головы не заболели... 9. Кушать сладко и вкусно, а пить с умеренностью, дабы всякий всегда мог найти свои ноги для выхода из дверей», и т. д.

За нарушение правил виноватый должен был выпить стакан холодной воды и прочесть страницу «Телемахида». Регламентом предписывалось также при обращении к Екатерине называть её просто по имени или мадам, так как под сводами Эрмитажа она желала быть лишь радушной хозяйкой.

Придворные спектакли обычно заканчивались рано, и хозяйка немедленно переходила с гостями в эрмитажный салон. Тут начинались игры в билетики, отгадки, фанты, жмурки. Игры шли шумно, резво и даже фривольно. Екатерина была первая затейница.

Однажды, отстав от игры в фанты, она села за карты. Вдруг в компании веселящихся наступила тишина. На вопрос Екатерины, что означает сия заминка, ей смущенно ответили:

— Ваш фант вынулся.

— Что ж присуждено мне делать?

— Велено вам сесть на пол.

— Для чего же нет, — и Екатерина, оставив игру в карты, тотчас села на пол.

Помимо веселья, подчас подымались в Эрмитаже и вопросы государственной важности, а иногда, присматриваясь к людям в их непринужденном поведении, Екатерина определяла характер каждого, делала оценку уму и способностям, и нередко через эрмитажные куртаги производились назначения лиц на государственные должности.

Граф Александр Сергеич Строганов, сумевший снискать благорасположение императрицы живым своим характером, однажды, после спектакля, за чашкой чаю в Эрмитаже, начал было рассказывать Екатерине про любопытный шереметевский обед...

— Знаю: слышала. Вы там присутствовали?

— Да, мадам. Не только присутствовал, но после оногo и носом немножечко клевал.

Екатерина с улыбкой погрозила ему пальцем и стала оправлять левой рукой локоны.

— Я слышала и о Пастухове, да и о других коммерческих людях из крестьян. Это — крепостные Шереметева, Уваровых, Воронцовых, Ягужинского и прочих. Оные крепостные люди имеют ювелирные лавки, экспортные заграничные конторы, шелковые фабрики. Я, Александр Сергеич, к промышленным людям отношусь с

полным решпектом. Они, наперекор дворянству, умеют капиталы созидать, из грошей делают миллионы, тогда как господа дворяне, наоборот, от миллионов зачастую до нищенской суммы. Я ценю труды Вольного экономического общества, да и сама, как вы, верно, осведомлены уже, пекусь о торговле и промыслах российских.

Екатерина рассказала о том, как лет пять тому назад тульские и казанские купцы — Виноградов, Пономарев, Вахромеев и другие — составили содружество для торговли с границей, как она своим иждивением соорудила фрегат о тридцати шести пушках «Надежда благополучия». Купцы погрузили на судно железо, юфть, парусные полотна, табак, икру, воск, канаты и под начальством фактора компании, казанского купца Пономарева, вышли в дальнее плавание и благополучно прибыли в Ливорно.

— Я счастлива, — заключила Екатерина, — что по моему почину впервые на водах Средиземного моря был поднят российский торговый флаг. Впервые!

Екатерина движением руки опять оправила локоны, откинулась на спинку кресла, приподняла обнаженные плечи и, приняв величавую позу, как бы напрашивалась на искреннюю, без лести, похвалу.

— О великая и премудрая государыня! —

воскликнул наблюдательный Строганов. — Под славным скипетром вашего величества искусства, торговля и промышленность державы российской немалое процветание имеют.

Екатерина с благосклонной улыбкой кивнула ему головой и потянулась к табакерке. Он тоже вынул табакерку и добросовестно зарядил ноздри ароматной темно-желтою пылью. Екатерина же, сделав вид, что взяла понюшку табаку, изящно щелкнула пред ноздрями пустыми пальцами и тотчас отерла нежнейшим, невесомым платочком свой, римского склада, нос.

Любуясь каждым жестом Екатерины, граф всякий раз, как и многие из царедворцев, подпадал под обаяние этой несравненной сорокапятилетней женщины, не утратившей ни свежести лица, ни стройности стана. «Она даже кашляет с удивительной грацией», — подумал он.

— Теперь расскажите, граф, как же вел себя этот купчина Пастухов? — спросила Екатерина.

— С охотой! — ответил Строганов. — Оный купчина вел себя с подобающим достоинством и без тени робости или унижительного низкопоклонства. Вот Пастухов встал, поднял бокал и, обратясь к Шереметеву, молвил: «Ваше сиятельство, я считаю за великое счастье присутствовать за вашим столом, пить за ваше здоровье и, чтобы не впасть в отчаяние, не терять



надежды на то, что когда-нибудь вы соблаговолите отпустить меня на волю». А граф ему в ответ: «Голубчик Дмитрий, миллион отступного ты мне даешь?.. Оставь деньги при себе! Для меня больше славы владеть не лишним миллионом, а таким человеком, как ты».

— А знаешь, Александр Сергеевич, — молвила Екатерина, наливая Строганову чай:

— Скажу тебе конфиденциально, как я однажды подкузьмила этого самого сумасброда-спесивца. Будь друг, послушай... Некий петербургский фабрикант, тоже из крепостных Шереметева, бывает часто в Риге и ведет немалый торг с заграницей. Я стороной проведала, что в его дочь влюбился лифляндский барон. Мужичок рад случаю породниться с молодым бароном, но тот ни за что не хочет вступать в брак с крепостной девушкой.

Ну, ни за что, ни за какой сдобный коврижка, как говорится...

Фабрикант-мужичок дважды валялся в ногах Шереметева, давал ему выкупного тоже, кажись, миллион, но спесивец и слышать не пожелал о вольной. И что же, и что же? Бедняжка девушка безутешна, мужичок стал зело запивать... И я, Александр Сергеич, пустилась тут на маленький бабий хитрость. О-о-о, мы, бабеночки, себе на уме. И вот слюшай, слюшай... Это произошло вот тут

же, где мы с тобой сидим. Я при большой компании сказала Шереметеву:

«Милый граф! Я восхищена вашим благородным поступком, я от души благодарна вам!» А он мне: «За что, Екатерина Алексеевна?» — «Как, за что? Неужели не догадываетесь? Ваш поступок заключается в том, что вы, не взяв никакого выкупа, дали вольную вашему крепостному, фабриканту Ситникову...» (Тут я маленько заметила, как граф выпучил на меня глаза и пожал плечами.) «Господа, вы слышали?» — адресовалась я к присутствующим и почувствовала, как мои щеки от моего вранья запылали. «Вы, милый граф, — сказала я, — облагодетельствовав отца, сделали счастливой и его дочь. Сия молодая особа, став ныне вольной, сможет соединиться узами Гименея с горячо любимым ею женихом. Словом, вы, граф, сотворили доброе дело, перед которым бледнеют ваши прочие добрые дела. Еще раз выражаю вам свою горячую признательность. Я, милый граф, в великом от вас восторге», — закончила я свою роль... Что же оставалось делать атакованному мною графу? Он поднялся — этакий красный, этакий пыхтящий, злой, — я испугалась, что его кондрашка хватит, — рассыпался в благодарности за мои милостивые слова и материнское попечение о своих подданных и в момент скрылся... А

назавтра я узнала, что он тотчас подписал Ситникову вольную, внушив ему: «Ты, голубчик, всем толкуй, что свободу получил от меня не сегодня, а еще неделю тому назад».

Каково!

— Я об этом невероятно остроумном казусе впервой слышу, — с притворным восторгом воскликнул Строганов, — и немало дивлюсь, мадам, вашей сугубой скромности.

— Но, милый друг... Не могу же я о всяком пустячке трубить перед глазами всего света.

— Слава вам, Екатерина Алексеевна! Вы изобретательны, как...

— Как ведьма с горы Брокен или гомеровская Цирцея?

— Нет, что вы, мадам! — захлебнувшись приливом нежных чувств, снова воскликнул Строганов. — Вы — гений добра и... и... красоты.

— Шутник! — засмеялась сквозь ноздри императрица и с игривой легкостью стукнула его веером по белому гладкому лбу.

И вдруг раздался слащавый иронический голос:

— Нет, нет... Нет, я ничего не вижу... — Неуклюжий, большой, пухлый Елагин — сенатор и «главной придворных спектаклей дирекции начальник», грузно опираясь на толстую трость и шутливо прикрыв глаза ладонью, остановился

вблизи Екатерины. — Нет, нет... Я ничего не видал, не слышал.

Императрица и Строганов сидели в уютной глубокой нише, задрапированной шелками и заставленной пальмами. Через зал проходили придворные дамы и кавалеры.

— А-а, мсье франкмасон! — позвала Елагина Екатерина. — Иди сюда, Иван Перфильич. Садись скорей... Ну, как нога твоя?

Тучный Елагин с шарообразной большой головой, неся на щекастом холемом лице широкую улыбку и сильно прихрамывая, приблизился к Екатерине, поцеловал её протянутую руку, по-приятельски обнялся со Строгановым и сказал:

— Только не франкмасон, мадам. Я суть великий мастер нашей ложи вольных каменщиков, коя подчинена лондонской ложе-матери...

— А тебе ведомо ли, Перфильич, что членом этой лондонской ложи-матери состоит и всеизвестный авантюрист Калиостро? — спросила Екатерина, обливая Елагина насмешливым, холодным взглядом. — Впрочем, я ваших тонкостей не понимаю и масонских устремлений не признаю... Все, что окутано тайной, вроде ухищрений вашего колдуна и алхимика Калиостро, есть шарлатанство, какими бы высокими принципиями оно ни прикрывалось. Истина же всегда выступает в свет с приподнятым забралом.

Так-то, мой друг...

— Но... всеблагая матушка великая государыня... я мог бы вам возразить... — начал было оправдываться ошеломленный таким афронтом истый масон Елагин, улыбка сбежала с лица его. — Я с юности моей имею склонность ко всему таинственному.

— Сие сожаления достойно, — тотчас возразила Екатерина. — Да ты садись... А что касается до толпы, увлекающейся всякой трансценденцией и теозофическими бреднями, уж ты не обессудь меня, — эта толпа отнюдь меня еще не знает. Предрассудки, как и тиранство, никогда не были и не будут душою свободных наук, а я готова постоять за оные... История же с магом Калиостро, с тем, как он всякими подземными гномусами и огненными саламандрами одурачивает вельможных простофиль, — позор для моей столицы!

Дивлюсь, — закончила она по-французски, — дивлюсь, что самое вздорное мнение, становясь всеобщим, смущает надолго разум и здравое суждение. — Она сделала паузу и отхлебнула глоток остывшего чаю. — Так вот что, мосье Елагин... Раз Калиостро к тебе вхож, так ты, ежели не страшишься его чар, намекни ему, пожалуй, чтоб он поскорей убирался из Петербурга, пусть не испытывает моего терпения, иначе я вышвырну этого розенкрейцера из России... по этапу!

Екатерина нервничала, то и дело распахивала и резко складывала веер, и вместо ласковых, теплых огоньков глаза её стали излучать холодный блеск.

Всем троим сделалось неловко. Елагин, признавая правоту Екатерины, чувствовал себя виноватым.

Один из ближайших сподвижников Екатерины, Иван Перфильич Елагин, не был ни богат, ни знатен. Но, пользуясь крупными от двора подачками и занимая хорошо оплачиваемые, но бездоходные должности, жил пышно и открыто. На одном из петербургских островов, впоследствии названном по его имени — Елагиным, он имел дворец, нередко посещаемый вельможами, столичными сановниками, избранными певцами Итальянской оперы. Иногда, в летнее время, заглядывала сюда и сама Екатерина.

Уважая Елагина за его правдивость, порядочность и широкую образованность, она была связана с ним и чисто литературными делами: Елагин, совместно с другими придворными, помогал ей переводить «Велизария» Мармонтеля. Императрица почитала его как самого трудолюбивого переводчика; он в свое время перевел многотомный роман Прево «Приключения маркиза Г.», перевел мольеровского «Мизантропа» и даже, подражая своему учителю Сумарокову,

пробовал кропать стишки, иногда повергая их на суд Екатерины.

Однако за последнее время, с тех пор как Елагин был посвящен в масоны, а затем он стал приглашать Калиостро в свой дом на медиумические сеансы, отношение к нему Екатерины заметно охладело.

Калиостро, этот ловкий проходимец, после странствований по Южной Франции, Италии и Мальте попал в Митаву, а затем и в Петербург. В качестве якобы врача и алхимика он сначала занимался изготовлением жизненного эликсира и добыванием из ртути золота посредством философского камня.

Впрочем, золото, и в довольно большом количестве, он добывал отнюдь не с помощью философского камня, а от продажи жизненного эликсира и через наглый обман слишком доверчивых своих знакомцев из столичной знати.

В число обманутых русских простофиль первым попал Елагин, а за ним и блестящий екатерининский вельможа — Александр Сергеевич Строганов.

Екатерину особенно раздражала та печальная действительность, что близкие ей люди, поклонники великих энциклопедистов, были столь бесхарактерны и беспринципны, столь слабы в рациональном способе мышления.

«В них никакие Гельвеции, никакие Вольтеры, — думала она, — не смогут искоренить мистических настроений. Такие люди всегда стремятся за пределы возможного, поддаются фантастическим бредням о других мирах, якобы населенных душами людей умерших, с которыми можно вступать в сношения через особо избранных людей, вроде Калиостро, Сведенборга, Сен-Мартена и прочих чудодеев».

Екатерина с душевной горечью думала об этих так называемых образованных русских людях высшего общества, легко попадающих из настроений мистических в лапы ловких мистификаторов.

\* \* \*

Через зал величественно и неспешно нес свою фигуру граф Никита Иваныч Панин. В его опущенной левой руке портфель красного сафьяна с золотым гербом. Сановник, отыскивая царицу, бросал взоры направо и налево. Вот он увидел её и, не изменяя горделивой поступи, а лишь чуть-чуть ускорив шаг, направился к императрице.

— А, Никита Иваныч!.. Добро пожаловать к нашему шалашу, — поторопилась сказать Екатерина, косясь на красный, иностранной коллегии, портфель.



— Во-первых, — целуя изящную надушенную её руку, проговорил Панин. — Во-первых, прошу прощения, Екатерина Алексеевна, что я по необходимости нарушил ваше рандеву с друзьями.

— В чем есть сия необходимость? Неотложные дела? — и царица снова покосилась с неприязнью на портфель. — Турция? Франция?

— И Турция и Франция, Екатерина Алексеевна. И ежели вы милостиво разрешите мне... — начал Панин, приготовившись открыть портфель.

Но Екатерина, коснувшись веером его руки, произнесла официальным, лишь слегка и с натугой подогретым тоном:

— Граф, только не здесь. Решать дела я привыкла у себя в кабинете, где скоро имею быть.

— Прежде всего я пекусь об интересах России, мадам...

— Я тоже, граф, — сухо сказала Екатерина.

Движением губ выразив на лице легкую гримасу досады, граф холодно поклонился и с подчеркнутой поспешностью отошел прочь от Екатерины.

Царица была довольна тем, что ей представился случай несколько принизить в глазах посторонних своего давнишнего противника. Сложное чувство таилось у нее к этому гордому, умному и просвещенному человеку, первому

сановнику империи и воспитателю её сына Павла. Он помогал ей войти на ступени трона, и за оказанную помощь она оставалась неизменно признательной. Но этот же самый Панин, опираясь на свою партию, мечтал лишить её престола в пользу малолетнего Павла. Унизительный для Екатерины торг вел с ней Панин накануне самого переворота, жертвой которого стал царствовавший в то время Петр III. Под личиной доброжелательства и дружбы всемогущий Панин собирался не более не менее — превратить её в послушную ему куклу на троне.

— Я мыслил бы, — говорил тогда Панин, — императором быть Павлу Петровичу, возлюбленному вашему сыну.

— А я, при малолетнем сыне моем, регентша?

— Да, государыня, — отвечал Панин твердо.

Как?! Ей быть регентшей при сыне, чтоб, когда он возмужает, навсегда утратить власть? Нет, никогда этого не будет, ни-ко-гда!

— Я так несчастна, так унижена своим супругом, что для блага России готова скорее быть матерью императора, чем оставаться супругой его, — с горечью ответила Екатерина и заплакала.

Екатерина всегда будет помнить, как Панин упал к её ногам, стал утешать ее, стал целовать ей руки. Каждый поцелуй его был для Екатерины поцелуем Иуды. И она тотчас решила припугнуть

Панина, в прах разбить его дерзкие мечтанья.

— Но... милый друг мой, Никита Иванович, — сказала она, — у меня единая надежда на бога, на вас и на преданную мне гвардию. Да, да, на гвардию...

Она видела, как властный царедворец весь внутренно сжался. Карта его была бита. Да, Екатерина опиралась, с помощью братьев Орловых, на многочисленную гвардию; Панин — лишь на десяток-другой сановитого дворянства.

Такого коварного поступка она вовеки не могла простить Панину. Но ведь он главный механик всего государственного аппарата, он влиятельнейший из вельмож, он мудро руководит внешней политикой, с его мнением считается Европа. Словом, в то время Панин много значил для дела Екатерины. Однако это было десять лет назад, а теперь... Теперь престол Екатерины крепок и незыблем, «бразды правления» она сама научилась держать в своих руках, а наследник престола Павел еще слишком юн и лишен необходимых качеств в опасной борьбе за власть. Он никогда не посмеет да и не сможет — свергнуть мать с престола. Ему не на кого опереться, и никакие Панины не в состоянии помочь ему.

Такие мысли, то четко, то вразброд, вскипали в мозгу Екатерины.

Сердце сжималось, взор устремлялся куда-то

вдаль или обращался внутрь взволнованной души.

Нет, она и здесь, в этом тихом убежище, не может оставаться лишь любезной хозяйкой, каждый час и каждый миг она — императрица.

Рассеянно прислушивается Екатерина к беспечной болтовне двух своих друзей, она им улыбается, иногда произносит ту или иную фразу, но взор ее, как бы пронизывая каменные стены, видит шагающего по дворцовым залам Никиту Панина. «До свидания, до свидания, Никита Иваныч... От подножия престола вы скоро будете устранены окончательно».

После досадного разговора с Екатериной граф Панин понуро шел по коридорам огромного пустынного дворца, пробиваясь на половину великого князя Павла.

«Вот ужо-ка, ужо она женит сына, всякими милостями осыплет меня и вышвырнет! Землями наградит да золотом. Ей казенного-то сундука не жаль, — все больше и больше раздражался Панин. — Эх, Никита, Никита!.. Ляжками, брат, ты не вышел, да и нос у тебя не столь казистый — а ля рюсс. А то бы...» — горько проиронизировал он над собою.

В китайском, с темно-красным драконом, чайнике дежурная фрейлина подала горячий чай, цукерброды и сухарики. Екатерина налила гостям по чашке.

Камер-лакей неслышной поступью приблизился к царице и поднес ей на серебряном подносе два пакета с сургучными печатями.

— Из действующей армии, ваше императорское величество. Экстра! — отчеканил браво лакей, стоя навытяжку.

По знаку царицы он удалился. Екатерина читала надписи на конвертах. В правом углу одного было крупно и безграмотно означено: «в собственные ручки... экстра». Это от Григория Орлова. На другом, мелким почерком:

«Экстра». Это от Григория Потемкина. Два Григория, два фаворита — бывший и будущий. Они как легкое облако проплыли перед взором Екатерины, улыбнулись ей и оба исчезли. И на их месте появился на миг во всей реальности красавчик Васильчиков. Екатерина нервно шевельнулась, вздохнула и положила нераспечатанные конверты на круглый столик.

В этой скромной келье она не только императрица, но и женщина, с прихотливыми чувствами, с непостоянным сердцем. Впрочем, Екатерина Алексеевна не без основания могла гордиться тем, что она в первую очередь императрица-женщина и лишь потом — женщина-императрица. Разум всегда властвовал у нее над чувствами.

— Итак, господа, — после длительной паузы

начала Екатерина, — в Турции война, кровь проливается, смерть разгуливает, а мы вот тут сидим да кой-кому косточки перемываем.

— Смею ласкать себя надеждой, мадам, — торопливо проглотив цукерброд, сладким голосом проговорил Елагин, — что война расширит пределы вашей империи и...

— Гений войны, — подхватил Строганов, — повергнет к вашим священным стопам все Черное море. А в нем... рыбы, мадам, рыбы!.. На всю Россию хватит!

— Ты все шутишь, Александр Сергеич, а мне, право, не до шуток. Ведь пять лет воюем...

— Но, матушка! Но, всеблагая! — воскликнули оба гостя. А Строганов сказал:

— Надо бы, Екатерина Алексеевна, к регламенту ваших вечеров добавить: «Входящий, не омрачай чела своего глубоким раздумьем».

— Да, ты прав, Александр Сергеич, — сделав над собой усилие, вновь оживилась Екатерина.

## 2

— Ты, Перфильич, извини меня и не злись, — сказала царица подобревшим голосом. — Как ты со своим костыльком управился по столь высоким нашим лестницам? — и она указала глазами на толстую с серебряным набалдашником трость его.

— О всеблагая, — складывая молитвенно руки и наклонив крупную голову к правому плечу, воскликнул Елагин. — Я воспарил в сию тихую обитель на крыльях Мельпомены и Терпсихоры.

— Я думаю, что тебе помогли все девять муз, а десятая на придачу — Габриэльша... Великий ветреник ты, Перфильич, неисправимый ферлакур. Я чаю, ты восхищен своей Габриэльшей выше меры.

— Это не есть восхищение ума, Екатерина Алексеевна, но восхищение сердца, — слегка грассируя, произнес Елагин.

— Охотно верю. Но страсти наши всегда против разума воюют, — с притворной застенчивостью улыбнулась Екатерина. — А столь прилежное восхищение сердца иногда в ногу ударяет, и человек с того разу начинает на костыльках ходить.

Елагин, комически состроив виноватую мину, распустил пухлые губы и пожал плечами, а Строганов, прикрыв рот рукою, сипяще захихикал.

Великосветскому миру, падкому на всякие слухи о любовных шашнях, было известно, что пожилой лоботряс и селадон Елагин по уши втюрился в красивую итальянскую певицу Габриэль. Много было смеху и пересудов, когда узналось, что жестокосердная оперная дива, желая поиздеваться над влюбленным в нее Елагиным,

принудила его сплясать вместе с ней веселый танец. Тучный, неуклюжий, как бегемот, да к тому же и подвыпивший, директор оперы Елагин, исполняя каприз подведомственной ему дамы сердца, проделав несколько бравурных па с припрыгом, вывихнул себе ногу и на целый месяц слег в постель.

Екатерина разгневалась на Габриэльшу, но не ради её коварного поступка с Перфильчем, а потому, что эта певица, перезаключая контракт на следующий театральный сезон, заломила с дирекции неслыханную годовую плату в десять тысяч пятьсот рублей, тогда как на содержание всей оперы отпускалось двorem всего семнадцать тысяч в год.

Екатерина улыбнулась смеющемуся графу Строганову и, повернувшись к Елагину, спросила его:

— Послушайте, Иван Перфильч, а верно ли, будто бы когда вы сказали Габриэльше, что-де в России столь огромное жалованье только фельдмаршалы получают, Габриэльша будто бы тебе ответила: «Ну так пусть ваши фельдмаршалы и в опере поют». Правда сие или вымысел?

Да, это была правда. Но Елагин с деланным возмущением, пристукнув тростью об пол, не задумываясь, возразил:

— Это, мадам, злостная ахиня, чушь, анекдот



досужих сплетников.

Екатерина, сразу подметив, что он, щадя Габриэльшу, врет, смущенно отвернулась от него.

Елагин собрался уходить, ссылаясь на появившуюся боль в ноге.

Екатерина резко встряхнула лежавший на столе звонок. Мигом, как из-под земли, явились два изящно одетых молоденьких пажа и фрейлина.

— Проводите его высокопревосходительство до кареты, — приказала императрица.

Когда все удалились, она, приняв из рук Строганова очищенный апельсин, сказала:

— Он большой повеса, этот самый толстячок. Помесь селадона с сибаритом...

— Есть мадам, смачное, круглое словцо: «бабник».

Екатерина рассмеялась:

— Бабник, бабник!.. Ах, как это чудесно, — и, достав золотой карандашик, записала в книжечку: «Бабник — сиречь по бабским делам мастер».

— Про таких господ пышнотелые субретки из простушек говорят: «Этот барин ерзок на руку», — надавал жару краснобай Строганов.

Екатерина снова рассмеялась. Кончики ушей её покраснелись, видимо, от смущенья перед Строгановым, она записала: «Ерзок на руку — сиречь в бабской стратегии имеет достодожный натиск и проворство, раз-два-три».

— С тобой, Александр Сергеич, поведешься, многим фигуральностям и веселым терминам научишься.

— Да, матушка, это правда... С собакой ляжешь — с блохами встанешь, как говорится.

— А знаешь, мне, как в некотором разе сочинительнице, хотя и весьма посредственной, все эти простонародные словечки и присказки зело необходимы.

— Матушка! — воскликнул Строганов. — Да вы же...

— Помолчи, Александр Сергеич, знаю, что расхваливать будешь мои листомарательные опусы. А вот господин стихотворец Сумароков да журнальных дел мастер Новиков поругивают меня в своих статейках. Иной раз, черт их возьми, пребольно. Хотя я к ним, к этим диатрибам, особой обиды не питаю, а все русское, народное — былины, песни — я ценю не меньше, чем они. Вот я и пословицы собрать заказала Ипполиту Федоровичу Богдановичу...

— Собрание пословиц было бы осмотрительнее заказать актеру Чулкову, — сказал Строганов. — Он записывает пословицы и песни непосредственно из уст народа и не портит их.

Екатерина, выразив на лице мину притворного недоумения, подняла брови и проговорила:

— А знаете что... Я очень ценю как пиита

Михайлу Попова.

— Попова? Но ведь они с Чулковым только готовые песни собирают.

— Попов и сам отменно изобретает их, — перебила Екатерина. — Я знаю две его песенки по образцу народных, я наизусть вытвердила их. Одна, «Ты несчастный добрый молодец», даже певчими моими распевается.

— Вы, мадам, видать, обожаете народные песни?

— А ведомо тебе, при каких обстоятельствах я полюбила их? Как-то, еще будучи великой княгиней, я ночью прокралась в комнату тетушки, императрицы Елизаветы, прельстила меня песня: кто-то складно-складно пел чудным голосом. А пел её наш милый Алексей Григорьевич Разумовский, бывший пастушок... Он поет, а чуть пьяненькая матушка Елизавета подшибилась рукой, глядит на него и плачет. Сцена — умиления достойна. И я-то едва-едва не расплакалась, столь складно, столь изумительно пел граф Разумовский. С тех самых пор я без ума от простонародной песни.

— Я ценю Попова более за его комическую оперу «Анюту», — почтительно выслушав Екатерину, сказал Строганов.

— Да, — возразила Екатерина, — но Вольтер сделал свою «Нанину» более тонко. А сюжеты обеих пьес сходственны.

Часы пробили одиннадцать. Императрица, привыкшая ложиться в десять и чем свет вставать, заторопилась. И только лишь показалась она в зале, как её окружила блестящая свита, и она, привычно улыбаясь всем, двинулась во внутренние помещения Зимнего дворца.

Вскоре, пользуясь правом входить к царице без доклада, проследовал в её покои Никита Панин с красным портфелем под мышкой.

### 3

Иван Сидорыч Барышников, подъехав к дворцу графа Шереметева, что на Фонтанке, прошел в графскую вотчинную контору.

Две большие чистые горницы разделялись на «столы» или на «повытья».

Особый судейский стол, накрытый красным сукном, помещался за перилами; на нем — «Уложение о наказаниях», приказы и формы графских бумаг. На высоких стенах царские портреты, писанные масляными красками, и эстампы с изображением генералов. На большой стене возле стола вотчинного управителя — генеральная всех вотчин ландкарта. Через сени, за железную дверь — кладовая для хранения денежных сборов с крестьян и предприятий, рядом с ней караульня с большим комплектом

вооруженной стражи, рассыльных и артельщиков; все они, как и все служащие в конторе, — крепостные Шереметева. Против караульни вход в архив.

Когда Барышников вошел в контору, все встали — бургомистр, приказчик, секретари и писари, поднялся даже сам вотчинный управитель. Все отдали Барышникову поклон, как известному по Петербургу богачу. Барышников удовлетворенно прикрикнул, склонил в их сторону голову. Служащие сели, снова принялись скрипеть перьями, переписывая сводные ведомости, шпуровые книги. А управитель еще раз поклонился Барышникову и указал возле себя на стул. Управитель вотчинами, сухонький маленький старичок с приятным бритым лицом, Петр Иваныч Сывороткин, тоже крепостной Шереметевых, безвыездно жил в Питере, получал достаточное жалованье, выстроил в деревне многочисленной своей семье два хороших, под железом, дома и был собственной судьбой вполне доволен.

— Ну, а как ваш сынок-с? — улыбочиво спросил Сывороткин.

— А мой Ванька в шляхетском кадетском корпусе обучается. Через годика два, глядишь, офицером будет.

— Приятно-с. Очень, очень приятно слышать-с!

— А я к тебе, брат, Петр Иванович! Присоветуй, — и, слегка пригладив ладошкой рыжие волосы, Барышников изложил управляющему цель своего приезда: он, изволите ли видѣть, задумал приобрести себе — конечно, на подставное лицо — тышчонку-другую мужиков с землей, так вот не присоветует ли ему Петр Иванович, куда по таким делам податься, в какую губернию ехать?

Да, может быть, и сам граф Шереметев уступит Барышникову участок из своей смоленской вотчины?

— Ведь я сам-то из Смоленской губернии, вот и хотелось бы обосноваться на родине.

— Да оно, конечно-с, — подумав, ответил приятный старичок. — У их сиятельства и в Смоленской и в иных прочих губерниях деревеньки с землицей есть. Вознесенская, Мещериново, Братцево... да мало ли... Только навряд ли его сиятельство пожелает переуступить их. Однако стукнитесь к его сиятельству, авось договоритесь. А что касемо адресочков разных господ, что, как я слышал, не прочь продать свою земельку, то... — Он вынул записную книжку из кармана своей серой куртки с золочеными пуговицами, на которых был изображен герб Шереметевых, и сказал:

— Ну-с, вот вам бумажка, вот перышко, прошу записывать-с.

Выйдя из вотчинной конторы, Барышников заметил на стене коридора объявление и стал читать:

«Дворецкий его сиятельства графа Шереметева С. Л. Лакров продает сироп для делания бишофу. Цена бутылки 2 рубля, из коей выходит 12 бутылок бишофу».

— Интересуетесь? — окликнул его проходивший в контору дворецкий.

— Ох, голубчик, господин Лакров! — повернулся к нему Барышников. — Я у тебя сиропу бутылочек пять куплю. На-ка получи, — и он подал ему золотой. — Доложись, пожалуй, обо мне его сиятельству да не оставь словечко замолвить за меня. Я вот по какому делу... — Барышников кратко рассказал ему о своих хлопотах.

Граф Петр Борисыч Шереметев, или, как его прозвали за несметные богатства. Младший Крез, был не в духе. Сегодня в его великолепном дворце званый ужин. Да не какой-нибудь, не для одной вельможной знати, к которой чванный граф относился в душе с большим презрением, на этом ужине будет присутствовать высочайшая особа — великий князь Павел Петрович. Может статья, и сама «матушка» пожалует.

И, как на грех, во всем Петербурге нет свежих устриц. Скандал! Без устриц великий князь за стол не сядет, приученный к сей гастрономической

дряни старым чертом Никитою Паниным. Во все места, где только можно встретить модные сии моллюски, были посланы гонцы: в рыбный ряд, в рыбные лавки богатых коммерсантов, ведущих торговлю с заграницей, на куне ческую пристань. Устриц не оказалось нигде... Вот так российская столица, черт бы её драл!.. Устриц — и тех нет!

Высокий, тучный и несколько сутулый граф с гладко причесанными на прямой пробор французом-куафером русыми волосами шагал по кабинету. Серые глаза под высоко вскинутыми бровями были сердиты, маленький рот раздраженно кривился.

— Даже в Гостином дворе у Гирса нет. А у него уж всегда свежие каперсы, анчоусы, цитроны, трюфеля и устрицы. У Форзелиуса и Генриха Шульца на Невском тоже нет. Ахти беда!

Граф запахнул табачного цвета бархатный халат и, скользя по изящным наборным паркетам мягкими сафьяновыми сапогами, спустился вниз, к парадному крыльцу, зашел в переднюю, что рядом с вестибюлем, сел под окно и стал смотреть сквозь стекла во двор, нетерпеливо поджидая вновь посланных по городу гонцов: авось каким-нибудь чудом удастся им добыть эти проклятые устрицы.

— Ну, прямо хоть ужин откладывай. Нет, сие дело невозможное. Ха, черт... Бывает же... Полцарства за бочонок устриц!



Степенно вошел в сером будничном полукафтаны старичок-дворецкий. Он остановился в пяти шагах от графа, замер, гордое лицо его окаменело, он отчетливо, не тихо и не громко, произнес:

— Ваше сиятельство. Известный коммерческий предприниматель господин Барышников прибыл во дворец вашего сиятельства и просит вашу милость дать ему аудиенцию по наиважнейшему делу. Ожидает в приемной.

— Ах, Ванька Барышников?! Гони к черту!

— Слушаюсь! — и дворецкий, сделав недовольную мину и пожав плечами, направился к выходу.

— Впрочем, стой. Спроси-ка, нет ли у него устриц? Он пройдоха.

Полцарства за бочонок устриц! И спроси, чего ему надобно?

Граф несколько повеселел. Вдруг Ванька Барышников, этот прожженный жулик, выручит. Вот бы!

Вновь явившийся дворецкий, притворно вздыхая и соболезнуя своему хозяину, заявил:

— Ваше сиятельство. Оный Иван Сидорыч Барышников просил вашей милости доложить, что он насмелился явиться к вашему сиятельству с самой нижайшей просьбой: не продадите ль вы ему тысячу крепостных крестьян с землей в одной из

вотчин вашего сиятельства. Он мог бы даже купить до пяти тысяч мужиков...

— Что, что? — приподнялся с кресла граф. — Я?.. Ему?.. Крестьян?..

Ну, а устрицы?

— Устриц нет у него, ваше сиятельство... И не предвидятся. Он сам ищет для подарка Алексею Григорьевичу Орлову.

— Вон гони! — закричал Шереметев. — Я знаю этого каторжника. В три шеи гони! Ежели будет ко мне шляться, на конюшне выпорю! — Граф был в гневе. Большое круглое лицо его побагровело.

Дворецкий понуро шел к ожидавшему его Барышникову. Как же «посполитичнее» ответить этому выжиге? А то он, чего доброго, разгневается да и золотой империял требует обратно. О Барышникове дворецкий знал всю подноготную. Какой-то задрипа-мещанишка из Вязьмы, он в Семилетнюю войну втерся к главнокомандующему графу Апраксину в доверенные. Как говорили злые языки, Апраксин получил взяточку от Фридриха II и велел Барышникову доставить в Питер несколько бочонков якобы с селедками, а на дне каждого бочонка было спрятано золото. Тароватый Барышников об этом пронюхал, и, как прибыл из Пруссии в Питер, передал графине Апраксиной одни селедки, а золото же притаил. С того и в люди

вышел. Эх, человеки! Божьего-то суда нет на вас, на подлецов...

Граф Шереметев, вдвое перегнувшись, недвижно сидел в кресле, как истукан. Уголок рта подергивался в нервном тике. Граф чувствовал себя несчастным из несчастных.

Снова появился дворецкий. Он не вошел чинно, как всегда, он потерял весь лоск и выправку; патрицианское, со строгими чертами, лицо его утонуло в радостной улыбке — стало похоже на самое обыкновенное лицо какой-нибудь смеющейся бабки Феклы, и голос у него сделался пискливый, с петушиной прихлюпкой. Позабыв, что перед ним сам сиятельнейший граф, первейший богач во всей империи, он, как полоумный, завопил:

— Петр Борисыч, батюшка!

— Что? — вскочил граф Шереметев.

— Купец Шелушин к тебе, Назар Гаврилыч, твой крепостной...

— Ну! — и Шереметев от сладкого предчувствия перестал дышать.

Перестал дышать и дворецкий. — Да говори же, черт тебя заешь!..

— Кажись, с этими самыми, как их... Тьфу!.. Память от радости отшибло.

— Да уж не с устрицами ли?

— Во-во-во! С ними.

Шереметев побежал к крыльцу, от радости он

прихлопывал в ладоши:

«Ура, ура!»

Назар Гаврилыч Шелушин, с аккуратно подстриженной темной бородкой, с живыми быстрыми глазами, уже вкатывал дубовый бочонок на крыльцо.

— Назарка! Назарка! Черт, дьявол! — в веселом исступлении закричал Шереметев, бросился к купцу и стал обнимать его, как пропадавшего без вести и вдруг появившегося родного сына. — Ну, выручил, выручил! И откуда это бог тебя принес?

— Из Риги, ваше сиятельство! Только-только паруса спустил на своем кораблике... Да вот услышал, что вы интересуетесь... Я мигом к вам.

Свеженькие... Куда прикажете, в кухню?

— Пойдем, пойдем, пойдем... Кати сюда, — и Шереметев, подоткнув полы халата, сам стал помогать купцу катить бочонок. Сел в кресло, опрокинул бочонок вверх дном, велел подать бумагу и перо.

— Ты сколько мне, Назар, сулил, чтоб я тебя на волю выпустил?

— Двести тысяч серебром, ваше сиятельство, — склонив голову набок и, словно ласковый кот, заглядывая в глаза своему владыке, сказал сладким тенорком купец. — У меня, ваше сиятельство, три сына молодца. В двоих дворянские

дочки влюблены, а третий сам в одну иноземку благородненькую втюрившись, извините. И ни одна невеста за крепостных рабов не идёт замуж: ни дворяночки, ни иноземочка. А ныне дела моей фирмы, слава богу, хороши: лен, пеньку, да сало, да мед с добрым барышом продал в Риге. И согласен буду вашей милости за выкуп все триста тысконок предложить.

Граф Шереметев, разложив бумагу на верхнем дне бочонка и не слушая купца, быстро писал. Затем посыпал бумагу песочком из фарфоровой песочницы, поднял голову, взял бумагу за уголок и подал её купцу.

— Получай, господин Шелушин, Назар Гаврилыч. Отныне вольный ты... Со всем родом твоим.

— Батюшка!.. Петр Борисыч!.. — и больше ни слова купец не мог вымолвить; он всплеснул руками, его рот скривился, нижняя челюсть затряслась. Но вот, передохнув, он забормотал:

— А деньги, а триста тысяч... Я мигом...

— Мне сегодня устрицы дороже твоих денег.

Понял?

Назар Гаврилыч рухнул графу в ноги.

В отдалении стоял старичок-дворецкий. Наблюдая эту сцену, он тоже втихомолку хлюпал носом. Ему понятна была радость купца, но он не понимал поступка графа. «Мать-богородица!

Бывают же такие сумасшедшие!.. Да он лучше сдернул бы с купца триста тысяч да этими деньгами бедность бы одарил. Мало ли несчастных на белом свете», — думал он горько.

#### 4

Подрядчик, у которого работала артель Прова Лукича, оказался человеком бессовестным: зря налагал на землекопов штрафы, увеличивал часы рабочего дня, неаккуратно выплачивал деньги.хлопоты дела не улучшили: полиция была подрядчиком подкуплена, отвечала на неоднократные жалобы отказом и застращиванием арестовать Лукича, а его артель, якобы неблагонадежную, выслать по этапу. Артель впадала в нищету, в отчаянье, и вот уже целую неделю питались люди водою и хлебом.

Митрий после трезвого зарока крепился долго, работал со всем усердием, но когда начались неприятности с подрядчиком, он, как говорится, соскочил с зарубки и запил горькую. Однажды вечером будочник приволок его пьяным и в совершенно голом виде. Матрена, взглянув на него, ахнула, всплеснула руками и заплакала. Артель купила Митьке новую рубаху за восемь копеек, новые штаны из казинета за четырнадцать копеек и липовые лапти за копейку с грошем.

Во многих других артелях столицы тоже было не лучше. В летние месяцы от плохого питания стали развиваться желудочные болезни, рабочие умирали в больницах, а главным образом по убогим своим квартирнкам — в подвалах, сараях, на баржах. Умерло двое и в артели Прова Лукича.

Строительные рабочие, встречаясь в трактирах, кабаках и живопырках, узнавали друг от друга о житье-бытье столичного рабочего люда. Из разговоров было ясно, что далеко не все подрядчики такие живоглоты, как подрядчик артели Прова Лукича или богачи, первостатейные купцы Долгов, Митрясов, Кошкин и другие. Наряду с ними были подрядчики и добросовестные, вроде купца Барышникова. Хотя и они старались выжать из рабочих всю силу, но разорять их вконец считали делом безбожным, хлопотливым и, главное, для себя невыгодным: пойдет про них худая слава, и на следующий год опытных рабочих, пожалуй, пряниками не заманишь к себе.

Эти встречи и разговоры в конце концов привели к тому, что в одном из трактиров какой-то пропившийся стрюцкий состряпал от четырех тысяч рабочих жалобную бумагу на имя самой императрицы. А через неделю, в праздник, двести пятьдесят человек выборных двинулись к Зимнему дворцу.

Их ко дворцу не допустили, они остановились

на площади и взорами, полными надежды, влипли в окна величественного здания. Как только появлялась в каком-либо окне женская фигура, вся толпа падала на колени, кланялась, вожак потрясал бумагой. Фигура быстро исчезала. Так, принимая показавшуюся в окне женщину за матушку-царицу, толпа трижды валилась на колени. К ним вышел из дворца некий бритый барин и стал на ломаном языке что-то разъяснять, шуметь и ругаться. Из толпы заорали:

— Чего он лопочет, немецкая морда! Пушай русского пришлют...

На смену немцу явился молодой, статный офицер. Он ласково сказал:

— Вы что, братцы! Вы, видать, с какой-то просьбой к её величеству?

Государыни в столице нет, она имеет пребывание в Царском Селе. Только я не советую вам туда ходить: подавать прошения в руки государыни запрещено. Вы оставьте свою бумагу в канцелярии по приему прошений, на высочайшее имя приносимых.

Толпа, состоявшая из бледных, испитых оборванцев, присмирела. Первым заговорил высокий, скуластый плотник:

— Милай!.. Ваше благородие! Ты погляди, в какую последнюю нищету пришли мы?.. Стыдобушка по городу пройти.



Едва он проговорил это, как из переулка показался большой наряд конной полицейской стражи. Толпа разбежалась, но, по условию, снова собралась на Сенном рынке. Решили, не откладывая, сейчас же идти в Царское Село. Дошагав до Пулковских высот и свернув влево, они вскоре увидели густо поросшую зелеными парками возвышенность и сверкавшие над зеленью пять золотых главок дворцовой церкви. В конце Кузьминского поселка их встретила у Царскосельской заставы рота гвардейских солдат.

Между столицей и Царским Селом, через каждые пять верст, стояли сигнальные вышки. С вершины их — днем флагами, а с наступлением темноты условными огнями — столица могла переговариваться с Царским Селом.

Очевидно, о походе артели в императорскую резиденцию было своевременно сигнализировано. Комендант, в предотвращение беспорядков, поспешил дать ходакам отпор. Он подлетел к ним на рослом коне и браво гаркнул:

— Куда прете!.. Разойдись!

Изможденные двадцатипятиверстным переходом, мужики едва держались на ногах.

— Ваше благородие, милостивец! Допусти, ради создателя, до матушки, просьбицу охота её милости вручить, — завыли они в голос и направились было вперед.

— Осади, лапотники, осади! — заорал комендант, он подскакал к своим гвардейцам, махнул им рукой, и те, опустив ружья со штыками, железным шагом двинулись на оторопевших ходоков. Артель, оробев, попятилась с ругательствами, криками:

— Братцы! Это что же, погибать?! Где правда, где бог? До матушки не допускают...

А кучка смельчаков, свернув с дороги, в отчаянье побежала в улицы Царского Села. Но все тотчас были переловлены подоспевшим казачьим разъездом. Был схвачен и пьяница рыжебородый Митька.

Все арестованные были впоследствии судимы как бунтовщики. Суд постановил выдрать виновных плетью, посадить на полгода в тюрьму, затем выслать этапным путем на родину.

Многие тысячи строительных рабочих, узнав о царскосельском происшествии, пришли в волнение. Возгорались бунтишки, мелкие перетырки с полицией, было в разное время убито из мести три десятника, два приказчика и управляющий, еще пропал без вести управитель подрядчика-живодера купца Долгова.

Встречаясь в корчмах, банях, а то где-нибудь за городом, в лесочке, сезонники говорили:

— Наперло нас со всей России дворцы да палаты им, гадам, строить. А нам-то какая корысть?

Ни с чем сюда пришли, ни с чем и домой вернемся.

— До царицы не допускают, вот что ты толкуй.

— Кабы велела, так допустили бы, беспреренно бы допустили. Это она сама препон кладет.

— Видать, страшится мужиков-то...

— Вестимо, страшится. От мужика чижолый дух идёт, а она, толстомяся, приобыкла с гвардией гулять... Чаи, кофеи, пампушки...

— Третий ампиратор, Петр Федорыч, этак-то не дельвал. Он мужика берег, а гвардию-то, слышать было, по шерсти не гладил.

— Вот за это самое Орловы графья, жеребчики-то матушкины, и повалили его.

— Пойдемте-ка, братцы, всем скопом в Александро-Невский монастырь панихиду по нем, по батюшке, служить пред гробом его.

— Эх, и дураки вы, братцы! — прозвенел надсадный, с хитрой подковыркой, голос. — Да нешто по живому панихиду служат?

— А и верно! — спохватились мужики. — Есть слых, быдто жив-невредим он, батюшка наш.

— Есть, есть, мужики... Эвот анадысь какой-то старичок-солдатик на работе к нам подсел да сказывал, что-де...

И зачались и потекли из уст разные были-небылицы, слухи, домыслы, общий смысл

которых: «Император Петр III жив, скрывается до поры в народе».

Но никто еще в столице путем не знал о суровых событиях, начавшихся на Яике.

### **Глава 3**

## **Гроза надвинулась. «Встань, сержант!..». Первые казни**

### **1**

В Яицком городке, возле палат коменданта, резко бил барабан. Это означало: офицерам и старшинам немедленно собраться в комендантскую канцелярию.

Было 19 сентября 1773 года. Семь часов утра. Косые лучи осеннего солнца пронизывали кисейные занавески на окнах, ложились по крашеному полу золотистыми квадратами. В одном из таких квадратов сидел четырехлетний голоногий мальчик в одной исподней рубашонке. Толстощекий, пышненький, он лепил из хлебного мякиша солдатиков и лошадок. Возле него стояло на полу блюдо со сметаной. Мальчик попыхтит, попыхтит, да и лизнет сметанки.

— Барабан... чу, барабан, батенька! — прокартавил он и, бросив мякиш, посмотрел на отца

снизу вверх.

— Да, брат Ваня, барабан, — сказал отец и заторопился. — Давай, давай, мать!

Это Андрей Прохорыч Крылов, капитан. Он плотный, короткошей, в темной рубаше с расстегнутым воротом и босиком. Волосы белокурые, длинные; он заплетает их в косичку с бантом, как положено артикулом.

— Черт бы их драл-то! Пожрать не дадут! — брюзжал он, отодвигая от себя сковородку с недоеденной жареной рыбой.

Из-за перегородки, где топилась русская печь, стремительно вышла смуглая, раскрасневшаяся у печки капитанша и поставила перед мужем кучу горячих пряженчиков на оловянной тарелке, а следом за ней девочка-калмычка несла в глиняной кружке чай, вскипяченный в чугушке.

— Полно-ка, не торопись! Не на пожар, успеешь, — сказала капитанша мужу и велела девчонке принести из спальни шпагу, мундир и сапоги капитана.

Вслед за девчонкой бросился и Ваня. Он притащил отцу шляпу, широкую шелковую опояску и офицерский знак.

Андрей Прохорыч смачно жевал сдобные пряженчики, посматривая через окно на улицу. По пыльной дороге шагал, как цапля, долговязый сержант, за ним, застегивая на ходу мундир,

поспешал кривой старшина. В церкви наискосок благовестили к ранней обедне.

— Батенька, не ходи на улку, — сказал Ваня. Он стоял у стола, положив подбородок на столешницу, нос и щеки у него в сметане. Захлебываясь и стараясь подобрать слова, мальчик лепетал:

— Там, батенька, Пугач... У-у, какой... Страшный, престрашный!

— Ты чего это разболтался?.. Какой такой Пугач?

— Царь это.

— Ах ты дурак этакий, ососок!.. Вот погоди, я-те дам царя... Мать, умой его да подай-ка сюда плетку...

Ваня взглянул на хмурое лицо отца, сорвался с места и прытко удрал через сенцы в спальню. Он плетки не боялся, его всегда страшат, а не бьют. Он пуще всего не любил умываться, особенно с мылом... Ой, ты! Глаза больно щиплет. Нет, уж лучше под кровать залезть, там и притаиться: поищут-поищут да и плюнут. Нет уж, пусть сами умываются, а я еще маленький!

Вошел денщик, старый хромым солдат с косичкой, под мышкой щетка, в руках начищенные, в заплатках, сапоги.

— Ну, что слышно, Семеныч? — спросил денщика Крылов.

— Идёт, ваше благородие... В окрестностях показался, — натягивая на барины сапоги, зашамкал Семеныч. — Еще утресь, до зорьки бекетчики наши на сопке солому жгли, знак давали, — стало, идёт злодей, идёт нечистая сила...

— Ха! А мы-то ищем по степу целый месяц. Слых есть, а где он, неумытая образина, поди знай... Из казачишек клещами не вытянешь. А вот оказывается, что он и сам идёт. Да полно, не врут ли?

— Пошто врут! Истинная правда, ваше благородие. Вчерась трое калмычишек на базар прискакали, бучу подняли: «Айда царю встречу, бачка-осударь войной прет!»

— Пускай прет, не шибко-то испугаемся: ворота на запор да и к пушкам... А ты, старый болтун, помалкивай, — рассеянно сказал Крылов и, наскоро перекрестившись, вышел на улицу.

Проводив барины, Семеныч потоптался, спросил хозяйку:

— А как же с базаром-то? Идти ли, нет ли?

Капитанша подхватила с лавки корзину.

— Иди, иди. Мяса купишь, осетринки. Да штоф красного уксуса не забудь, — и дала ему на покупку двадцать копеек медью. — Смотри, поскорей приходи... Чегой-то боязно...

— Да не страшись, матушка... У нас сила, а у него чего? Только бы поближе подманить

окаянного. Враз схватим!

Денщик ушел, и капитанша опустилась в камышовое кресло и, страдальчески сложив брови, устремила растерянный взор в передний угол, где полочка с дешевыми, покрытыми фольгой иконами, с черствой просвиркой и пучком вербы от «страстей господних». Сердце женщины замирало.

— Матушка-богородица, отведи грозу, спаси, помилуй воина Андрея да младенца Ивана, — шептала она.

\* \* \*

— Ну, кого же тебе, старшина, в помощь дать? — обращаясь к кривому Окутину, говорил комендант Яицкой крепости, полковник Симонов. — Ну, скажем... Крылова, капитана... Да вот он и сам легок на помине...

Поздненько, поздненько, барин. У нас горячка, а ты...

— Винюсь, господин полковник. Не чаял столь ранней тревоги, — вытянулся посреди канцелярии Крылов.

— Ладно, садись.

Широкоплечий, коренастый Крылов неуклюже уселся рядом с молодым сержантом за длинный, накрытый красным сукном стол. Возле подтянутого, узкоплечего и сухого Симонова



устроился толстый, лохматый, брыластый, с опухшими от пьянства глазами войсковой старшина — полковник Мартемьян Бородин. Он дышал тяжело и подремывал: вчера всю ночь прогулял у кума на крестинах. По другую руку Симонова сидел хмурый секунд-майор Наумов.

Остальные офицеры и младшие старшины — кто за столом, кто возле стен, на обитых сукном лавках.

С простенка меж окон глядела на всех улыбчивая Екатерина в золоченой раме.

— Стало, ты, господин Окутин, набрав конных казаков с сотню али больше, выйдешь в поле вместе с отрядом секунд-майора Наумова, в коем отряде быть двум либо трем некомплектным ротам пехоты, — отчетливо говорил Симонов. — Приказываю изыскать способ злодея схватить, толпу разогнать. А как настроение казаков?

— Сумнительное, господин полковник.

— Старайся в отряд набирать казаков, к службе нерадивых, образом мыслей вольных. У меня особой надежды на них нет. Ежели и передадутся злодею, жалеть не буду, без них воздух чище станет. А старшинской стороны казаков покамест не тревожь, они нам пригодятся; еще неизвестно, как обернется дело-то. С богом, Окутин!.. Не зевай, гляди в оба! — закончил Симонов и, посмотрев в одноглазое лицо Окутина,

смутился.

Обиженный словами Симонова — «гляди в оба», Окутин наморщил лоб и сел.

— Ну-с... За сим... сержант Николаев!

Тот поднялся, высокий и поджарый. На молодом, сильно загорелом лице со светлыми, песочного цвета усами выражение растерянности и тревоги.

— Тебе предстоит задача многотрудная. Возьмешь у подьячего восемь опечатанных конвертов и, на пути в Оренбург, развезешь их по форпостам. А конверт за сургучными печатями — лично губернатору Рейнсдорпу. Конверты береги, они с важным оглашением о воре Емельке Пугачёве, похитившем имя покойного государя Петра Третьего. Собирайся в путь, брат Николаев, незамедлительно.

Сержант поклонился и вышел. Вся его стройная фигура как бы надломилась, на лицо набежала тень.

Симонов позвонил. Два гайдука, с нагайками через плечо, ввели калмыка. Три дня тому назад его схватил в степи казачий разъезд старшины Окутина. Глаза у калмыка раскосые, злые, усы и борода реденькие.

— А ну, молодцы, вытяните его вдоль спины покрепче! — хрипло выкрикнул дремавший перед тем Мартемьян Бородин.

Гайдуки крест-накрест ударили калмыка нагайками.

— За что, собак кудой, бьешь? — ощетинился тот.

— Тебя не бить, а убить надобно, — буркнул старшина Окутин и покосился на Симонова.

— Отвечай, Аманов, — резко заговорил Симонов, — какие дары вчера получил вор Пугачёв Емелька от киргиз-кайсацкого Нур-Али-хана?

— Осударь принял от хана коня да седло с бешметом, — помолчав, откликнулся калмык.

— Какой государь? — ударил кулаком в стол Симонов, и большой шрам на его щеке потемнел. — У нас государя нет, есть государыня.

— А ну, всыпать! — махнул Мартемьян Бородин гайдукам и понюхал из тавлинки табаку.

Гайдуки принялись было стегать калмыка, но Симонов их остановил и, обращаясь к Бородину, произнес сквозь зубы:

— Полковник Бородин, допрос веду я... И... прошу не вмешиваться!

Окутин, достав из сумки, подал Симонову две бумаги:

— Оба эти письма калмык Аманов вез от злодея к Нур-Али-хану. Одно по-русски, другое по-калмыцки.

Отхлебнув из стакана воды, Симонов громко огласил:

— «Я ваш милостивый государь Петр Федорович. Сие мое именное повеление киргиз-кайсацкому Нур-Али-хану для отнятия о состоянии моем сомнения. Сегодня пришлите ко мне вашего сына Салтана со ста человеками в доказательство верности вашей с посланным сим от нашего величества к вашему степенству ближним вашим Уразом Амановым с товарищами. Император Петр Федорович».

— Как ты появился возле злодея Пугачёва? — спросил Симонов, комкая в кулаке послание самозванца.

— Я прибыл вместе с муллою Забиром от Нур-Али-хана к осударю с дарами, — ответил через переводчика все еще озлобленно Аманов.

— Кто писал сие гнусное письмо?

— Ваш казак Болтай, Идоркин сын.

— А ты знаешь Идорку? — спросил Симонов.

— Он у меня бабу украл, жену мою.

Тучный Мартемьян Бородин хихикнул, зачихал в платок.

— Где ты встретил злодея Емельку Пугачёва?

— Осударь вчера находился ниже Чаганского форпоста. При нем яицких казаков триста душ. Осударь сюда идёт...

Офицеры и старшины переглянулись.

Глазастый молодой казак крикнул со сторожевой вышки Чаганского форпоста:

— Государь с толпой показался!

Казаки, старые и молодые, вылезли из своих плетеных, обмазанных глиной шалашей и, защищаясь ладонями от утреннего солнца, воззрились в степь. Там, в клубах пыли, двигались всадники.

Чаганский форпост, как и прочие форпосты Оренбургской линии, являлся одним из защитных пунктов против набегов калмыков и киргизов. Форпосты и пикеты строились на один манер, они имели вид маленькой крепостицы: невысокий земляной вал, сторожевая бревенчатая вышка, несколько шалашей, чугунная старая пушка да человек двадцать казаков.

Костер горел. В котле кипела баранья, с пшеном, похлебка. У корыта, засучив рукава, старый казак стирал белье. Возле котла, принюхиваясь и пуская слюни, вертелась черная собачонка.

К стоявшим на валу казакам, отделившись от толпы, подскакали три всадника. Один из них крикнул с седла:

— Признаете ли государя Петра Федоровича? Вот он самолично шествует с верным воинством своим к Яицкому городку — спасти всех казаков

от лютыя напасти.

— Признаем! Давно поджидаем батюшку — с готовностью откликнулись казаки. — Ой, да никак это ты, Чика?

— Я, — ответил Чика-Зарубин. — Сколько вас здесь? Шашнадцать.

Седлайте коней, теките к государю. Да не мешкайте! — И всадники поехали дальше.

Вскоре группа казаков Чаганского форпоста подошла на рысях к стану Пугачёва.

— Здорово, детушки! — поприветствовал Емельян Иваныч соскочивших с коней молодцов.

— Рады служить тебе, ваше величество! — закричали казаки.

— Съединяйтесь, детушки, с моим воинством. Будете верны мне, государю, — ласку мою почувствуете, стану льготить вас, а отстанете от меня — смерть примете. С изменниками я крут!

— Твои рабы, ваше величество! — вновь закричали казаки и повалились на колени. — Не вели казнить, вели миловать.

— Встаньте, детушки! Я ваш отец и царь ваш, — ласково произнес Емельян Иваныч.

Казаки поднялись и с любопытством стали присматриваться к государю.

Не высок, не низок, в плечах широк и мясист, а в талии поджар. Полнощекое строгое лицо в густой черной бороде с легкой проседью; волосы

подрублены по-кержацки, под горшок, на лоб зачесана подстриженная челка; меж крутыми пушистыми бровями нет-нет да и врубится глубокая складка. Глаза темные, жаркие, пронизывающие; встретишься взором с ними и — мимовольно дрогнет сердце. Одет батюшка не по-царски, просто. На нем тканый из верблюжьей шерсти поношенный бешмет, подпоясанный шелковым кушаком с кистями, на голове мерлушковая с красным напуском шапка-трухменка. Поди, у батюшки и царская сряда есть, да он, видать, бережет ее, в походы-то не надевает: эвот пылища какая по дорогам, по сыртам.

Пугачёв взад-вперед расхаживал по луговине. То смотрел в землю, то вскидывал голову, пристально вглядывался в побуревшую степь, в какое-нибудь показавшееся пыльное облачко. Иногда он сердито сплевывал сквозь зубы.

Уже несколько форпостов с охотой передались новоявленному императору.

Присоединялись к его толпе и казаки, жившие на зимовьях или скрывавшиеся в бегах от преследования коменданта и старшин.

Пугачёв старался казаться довольным таким успешным началом, но душа его была беспокойна: предвиделось много трудностей. Впереди — Яицкий городок с полковником Симоновым,

Оренбург с генералом Рейнсдорпом, — впереди вся жизнь, окутанная грозovým туманом.

Вот, по команде царя, все вскочили в седла и тронулись в путь-дорогу.

Рядом с Пугачёвым ехал чернобородый, с темно-бронзовым, как у грека, лицом Зарубин-Чика. Нос у него большой, горбатый, глаза быстрые, веселые.

Громкоголосый Чика никогда не унывает. Вот и сейчас он старается развлечь государя, чтоб в дороге не скучал, но тот через плечо смотрит на него и говорит:

— На Яицкий городок войной идем, а пушек у нас черт-ма...

— Да, пушек маловато, а кои с форпостов снимали, пять штук, так нешто это пушки? Из них очумелую собаку не убьешь.

— Да-а, — раздумчиво протянул Пугачёв. — Ежели б у нас батарейки на две добрых пушек было, ну тогда, как говорится, отойди-подвинься. А при пушках чтоб бомбардиры ухватистые... Да ведь возле пушек-то я и сам могу орудовать, дело бывалое.

Он вспомнил про свой поход в Пруссию, где, вместе с донцами, сражался в молодых годах против войск Фридриха II. Вспомнил и про старого бомбардира Павла Носова, с коим водил на той войне дружбу. «Эх, где-то ты теперь, родимый



старичок? Жив ли?» — подумал Емельян Иваныч и, вздохнув, молвил:

— Вот ужо, как скопим силу, на уральские заводы доверенных людей учнем спосылывать. Пушки там заберем, новые лить будем. Тамо-ка, слышал я, знатецы по пушечным делам имеются.

— Да уж это так... Лишь бы нам народом обрасти. Не торопись, батюшка.

Ведь ты и в царях-то третий день ходишь. Выступили мы семнадцатого, а сегодня... девятнадцатое сентября.

— Нет, Чика, поспешность не вредит, — возразил Пугачёв. — А ведь, слышь, артиллерия дело великое, Чика. На Яике из пушки вдарить — по Москве да по Питеру гулы пойдут. Ась? — и Пугачёв по-хитрому прищурился на Чику, отчего лицо его из сторожко сурового сделалось простым и по-мужичьи добродушным.

— Да уж... Чего тут, — проговорил Зарубин-Чика и, указав рукой вперед, добавил с облегчением:

— А вот и городок наш на виду, ваше величество. Эвот кресты-то взблескивают на солнышке.

Церковные кресты сияли в далеком мареве, солнце спускалось, чистое небо голубело над головами. Пугачёв раздумчиво молчал.

— Не пора ли привал, ваше величество, да

поснедать... — опять сказал Чика, и вся толпа, по знаку Пугачёва, остановилась.

В тороках у казаков и в телегах были туши баранов, живые, связанные попарно куры, хлеб, сало. Стали разводить костры. И в суете не заметили, как к стану подкатила бричка с рогожным верхом. Её конвоировали двое верховых казаков.

— Вылазь! — крикнул один из конвоиров. — Чика, примай! Барина пымали.

Из брички угловато стал вылезать долговязый бледный сержант Дмитрий Николаев.

Колченогий возница соскочил с облучка и попросил у рыжеусого казака Давилина покурить. А сержанта подвели к сидевшему на пне Пугачёву.

— Откуда, кто таков? — подбоченясь, спросил пленника Пугачёв.

Сержант, руки по швам, назвал себя и добавил, что послан комендантом Симоновым вплоть до Астрахани курьером.

— Подай сюда бумаги, что с собой везешь.

— Бумаг у меня не имеется, — дрогнувшим голосом проговорил Николаев.

— Послан словесно упредить на форпостах, чтоб не дремали, потому как по левому берегу Яика орда показалась.

Пугачёв, чувствуя на себе ожидающие взоры казаков и приставших к его толпе крестьян, колебался: как ему поступить с сержантом из

вражеского лагеря? А вот как... Ведь он, Пугачёв, царь среди своего народа, — стало быть его ответ сержанту должен быть словом государственным.

— В таком разе, ежели ты по казенному делу, то поезжай, — веско сказал Пугачёв. — Ежели насчет орды, так это дело нужное, государственное.

Сержант Николаев поклонился, четко сделал налево кругом (Пугачёву понравилась выправка его), и переполненный радостью, что спасся от гибели, поспешил к кибитке. И только лишь занес он ногу, чтоб сесть, как сильная рука казака Давилина цепко схватила его за шиворот:

— Стой, изменник! А это что? — и Давилин сунул в лицо Николаеву восемь отпечатанных пакетов. — Возница-то твой не столь крив душой, как ты. Пока тебя государь опрашивал, возница-то из твоей сумки указы симоновские выпростал... Марш к государю!

Трепещущий Николаев снова предстал перед Пугачёвым.

— Что скажешь, друг? — тихо, без злобы, скорее насмешливо спросил Пугачёв.

Николаев стоял ни жив, ни мертв, низко опустив голову.

Давилин вручил государю пакеты и обо всем торопливо сказал ему.

Пугачёв повертел пакеты и передал их своему молодому секретарю, Ване Почиталину:

— Читай в гул, появственной!

Выслушав, Пугачёв разорвал бумаги и ледяным голосом сказал окружающим:

— Что ж Пугачёва ловить? Пугачёв сам в городок идёт. И коли я — Пугачёв, как они облыжно называют меня, так пусть словят и в цепи закуют.

А ежели я истинный государь, должны они с честью встретить меня. Дураки, изменники!.. Государя своего с каким-то беглым казаком спутали... — Он прихмурился и, не глядя на казаков, обратился к пленнику:

— Пошто же ты обманул, сержант, государя своего? Пошто правды враз не сказал нам?

Давилин! Вели-ка приготовить молодцу перекладинку...

Прямой и тощий Николаев неуклюже взмахнул локтями и пал Пугачёву в ноги:

— Винюсь перед вашим императорским величеством!.. Убоялся, смалодушничал. Верой и правдой служить буду... помилуйте!

— Не слушай его, батюшка, он те наскажет!.. — кричали казаки от старой ветлы, перекидывая через её сук аркан с петлей.

— Брось галдеть! — порывистым взмахом руки остановил Пугачёв казаков.

— В животе да в смерти не вы, люди подначальные, а один бог волен да я, государь.

Встань, сержант! Милую тебя, служи мне верно!

И, обратясь к притихшим казакам, продолжал:

— Господа, войско казацкое! Он человек в военном артикуле грамотный, пускай вам, а такожде и мне, государю вашему, служит. Без знающих людей царскому величеству быть не подобает. Секретарь! Мы божиею милостью определяем сержанта Николаева для начала в помощники тебе...

— Слушаю, ваше сиятельство! — тряхнув льянным чубом, выкрикнул голубоглазый юноша Ваня Почиталин.

Все бывшие при этом случае казаки, татары и крестьяне, чувствуя над собой сильную руку «батюшки», пришли в радость. «Батюшка» справедлив, «батюшка» гневен, да отходчив, уж он-то умеет защитить их, надо крепко держаться за царскую его полу.

Казаки на цыпочках ходили возле «батюшки», говорили друг с другом вполголоса, осторожно поглядывали на своего государя: не моргнет ли глазом, не соблаговолит ли приказать чего.

А несчастный сержант все еще трясся, не попадал зуб на зуб. В его раздернутом сознании беспорядочно мелькали Симонов, семья, товарищи, перекинутый через сук аркан, в ключья изорванные казенные пакеты. И этот бородатый детина, с черной грязью под ногтями, с выбитым, надо быть,

в пьяной драке, передним верхним зубом — царь. Господи помилуй!.. Да уж не сон ли все это?.. Всемиловитая государыня Екатерина Алексеевна, пощади подлого раба своего, долг свой нарушившего!» — вскидывая глаза к голубому небу, вздыхал он.

Обедали в ложине, опоясанной древними кудрявыми ветлами. Проворный татарин толмач Идорка едва успел подать «батюшке» лучший кусок баранины с чесноком, как с караульного дерева, что на поляне, скатился толстогубый, чубастый Ермилка. Он прытко подбежал к пятерым своим товарищам, в сторонке от компании хлебавшим из котелка рыбную щербу. Те, побросав ложки, вмиг вскочили на коней. И вот полдюжины всадников помчались по степи к дальним, верстах в трех, кустам.

Обед продолжался. На Ермилку с товарищами мало кто обратил внимание.

А меж тем отряд Ермилки, разбившись надвое, летел во всю скачь, поправее, другие полее, чтоб отрезать какому-то неизвестному всаднику путь к отступлению. Перед этим всадником бежал что есть силы некий человек. Вот он смаху опрокинулся на землю — удавка поймала его за шею; а как только всадник подскакал к нему, человек, освободившись от петли, опять побежал. Всадник в момент настиг его

и дважды вытянул нагайкой. Человечек пронзительно закричал и, выхватив нож, бросился на всадника. Тут на них с двух сторон наскочили казаки.

— Хватай! — и Ермилка ловко поймал за узду чужого коня, во всаднике он узнал молодого казака Скворкина. — Скворкин, долой с коня, Тимоха, залазь...

Тяжело дышавший Тимоха Мясников, бросая ненавистные взгляды на своего обидчика и ругая его, устало залез в седло. Скворкину связали назад руки и, понуждая нагайками, повели меж двух коней к стану.

Когда Мясников, соскочив с коня и сорвав шапку с головы, стал подходить к государю, тот, сидя по-татарски на ковре, аппетитно ел баранину. Мясников забежал перед его лицо и повалился в ноги.

— Здравствуй, раб мой верный, казак Мясников, — покровительственно сказал Емельян Иваныч, сразу узнав знакомого ему Тимоху Мясникова. Наскоро облизнув пальцы, он вытер их об рушник и подал казаку руку для лобызания.

— Где был? Что видел?

— Ой, батюшка, ваше величество, — часто взмигивая, словно собираясь заплакать, начал обычной своей скороговоркой краснощекий с беловатой бороденкой Тимоха Мясников. — В

кустах, батюшка, хоронился от комендантских сыщиков, в кустах да по трясинам... А вот сволочь, старшинский казачишка, таки скрал меня, — и Тимоха мотнул головой в сторону Скворкина.

В некотором отдалении стояла группа молодых казаков, среди них Ермилка и только что изловленный Скворкин. Все с обнаженными головами, один Скворкин в шапке.

Угрюмо покосившись в их сторону и заметив связанного по рукам молодца, Пугачёв внимательно вслушивался в слова Мясникова.

Тимоха опять слезливо замигал, шумно высморкался и, утираясь подолом рубахи, закончил тенорком:

— Этот высмотрень нагайкой меня сек да орал мне в уши, чтобы я сказывал, где царь приبلудный и сколько за собой он силы ведет? Бородиным Матюшкой гад этот подослан выслеживать за тобой, батюшка...

— Господа казаки, подведите его ко мне да развяжите ему руки, — проговорил Пугачёв, кивая головою на изловленного старшинского прихвостня.

Тот был опрятно одет, на ногах новые, расшитые шелком татарские сапоги с загнутыми носами. Ермилка, крикнув: «Долой шапку!», дал ему затрещину, шапка слетела в кусты.

— А-я-яй, ая-яй, — глядя в упор на Скворкина



и покачивая головой, начал Пугачёв. — Смотрю я на тебя и дивлюсь: замест того, чтобы мне, государю, служить, ты умыслил против меня шпионничать. Уж лучше бы дома сидел, а шпионить-то меня пусть бы кто другой ехал, постарее да посмышленей тебя. Экой дурак ты!

И уже большая толпа собралась вокруг «батюшки». Казаки хотели подать свой голос, чтобы казнить сыщика, да побоялись, как бы государь опять не прогневался на них. Однако Давилин и Дубов, перебивая один другого, говорили:

— Подлинно он плут... Прикажи, надежа-государь, повесить гаденьша...

Батяка его завсегда обиды нам творил. Да и сын не лучше батяки смертный оскорбитель и обидчик наш...

— Прикажи, ваше величество, вздернуть гада! — осмелев, закричали казаки. — Самый мерзопакостный он, даром что молодой... Ишь, глазищами-то зыркает, словно змея из-за пазухи!..

Парень и впрямь косил во все стороны желтовато-рыжими глазами, как бы собираясь броситься в кусты. И никакого внимания «батюшке», хотя бы слово молвил, хотя бы голову перед царем склонил.

Пугачёв поднялся, заложив руки за спину, раз-другой прошелся по ковру, сказал глухо, но

крепко:

— Что ж, господа казаки... Ежели не люб он вам...

Он не договорил, но казаки поняли его царскую волю и поволокли молодца к старым ветлам.

### 3

Секунд-майор Наумов, перейдя со своим отрядом через реку Чаган и выставив возле моста две пары пушек, дальше не пошел. Верстах в трех от него маячили Пугачёвские всадники, толпились люди. Наумов приказал старшине Окутину двинуть вперед сотню казаков, чтобы разведать силы врага.

Окутин боялся далеко отходить от пехоты и пушек, он не надеялся на верность своих казаков: войсковые шпионы еще вчера упреждали его, что промеж дурных казачишек мутня идёт. Сотня Окутина, вместе с бывшим при ней капитаном Крыловым, остановилась.

Вдруг со стороны Пугачёвцев показался казак, он высоко держал над шапкой бумагу. Крылов и Окутин двинулись ему навстречу.

— Указ... указ государя! — голосил всадник и, подскакав к Окутину, вручил ему пакет. — Государь приказал прочесть всем... на голос!

— Какой такой государь? — закричал Окутин.

Но казака уже и след простыл. Окутин, не читая бумаги, сунул её капитану Крылову, тот спрятал бумагу в карман.

— Что ж вы не читаете? Читайте, что там написано... — загалдели казаки.

— Молчать! — прикрикнул Окутин. — Не ваше дело!

— А чье же, как не наше? — вызывающе проговорил пожилой казак Яков Почиталин. — Братья-казаки, требуй!..

Поднялась словесная перепалка. Окутин с Крыловым, оробев, дали сотне приказ отступить к отряду Наумова. Но в кучке влиятельных казаков Андрей Овчинников, Яков Почиталин, Лысов, Фофанов во весь голос дружно закричали:

— Кто государю служить готов, айда за нами!

И больше сотни казаков, вскинув над головами ружья и пики, умчались по направлению к стану мятежников.

— Пропало войско яицкое, — в унынии сказал Окутину капитан Крылов. — Уже раз измена завелась, так пойдет!

Казаки-Пугачёвцы встретили перебежчиков ликующими кликами. Ваня Почиталин, усмотрев среди подъехавших всадников своего отца, бросился было к нему со всех ног, но вспомнив, что есть он у государя персона, сразу придал себе солидность и, подойдя к родителю, важно, со

степенностью сказал:

— Здравствуй, батенька... Все ли здоров?

И когда Яков Митрич прижал сына к груди и трижды с родительской нежностью поцеловал его в вихрастую голову, в лоб и в губы, секретарь государя скривил рот и всхлипнул.

Между тем Пугачёв с едва скрытой радостью принимал верных слуг. Все они, сдернув с голов шапки, стояли на коленях.

Увидав среди них плешивого Митьку Лысова, Пугачёв несколько омрачился. Не нравился ему этот низкорослый, хитрый, с козлиной бороденкой, человек. Еще так недавно, когда войсковые депутаты чинили в степи Пугачёву посмотренье — быть или не быть ему царем — этот самый Митька Лысов разные каверзные подковырки Пугачёву пускал.

Первым по старшинству лет подошел к руке «батюшки» большеусый, со впалыми щеками, Яков Почиталин.

— Что ты за человек? — спросил Пугачёв.

— Я надежа-государь, родным отцом довожусь Иванушке, что писарем тебе служит.

— Иван, верно ли сказывает?

— Истинно верно, ваше величество.

— Ну, царское спасибо тебе за сына, старик! Служи и ты мне, как предкам моим отцы твои служили.

Тем временем на помощь секунд-майору Наумову из крепости подошла еще сотня казаков под началом старшины Витошнова. Заметив, что Пугачёвцы всей толпой двинулись в обход моста, защищенного пушками, Наумов приказал старшине воспрепятствовать переправе мятежников вброд на другой берег Чагана. А бывшему среди сотни пожилому казаку Шигаеву секунд-майор сказал:

— Слушай, Максим Григорьич... Я тебя знаю давно за человека умного...

Сделай милость, как войдешь в соприкосновение с толпой, урезонь казаков, чтоб откололись от вора...

— Ладно, — буркнул Шигаев и надвинул шапку на глаза.

Сотня Витошнова на рысях пошла встречу Пугачёвцам. Подпустив сотню на близкую дистанцию, Пугачёв подал команду:

— Детушки! Окружай изменников с флангов, а я с тылу по хвосту вдарю... Вали в обхват!

Взвились кони, засверкали на заходящем солнце сабли, пыль по степи пошла. Однако рубиться не пришлось: почти вся сотня, насильно захватив своего старшину Витошнова, передалась мятежникам, и лишь с десятков казаков помчались обратно наутек, но их поймали, связанными приволокли к Пугачёву и потребовали немедленной им казни.

— Пускай до утра сидят под караулом. А завтра моя высочайшая воля воспоследует, — сказал государь.

Пугачёв был настроен сейчас на самый бодрый лад: ведь за один день к нему переходит самовольно вторая сотня боевых казаков. Это ли не удача!

Толпа переправилась через реку и, оказавшись в тылу отряда секунд-майора Наумова, принудила его убраться в крепость.

Наступил вечер. Толпа расположилась на ночлег.

За ночь невдалеке от палатки государя казаки соорудили виселицу, они надеялись, что так или иначе, а супротивникам народным доведется качаться на веревках.

На другой день, после завтрака, Пугачёв приказал казакам собраться в круг. Горнист Ермилка в медный, начищенный бузиной, рожок проиграл сбор.

Со вчерашнего дня на нем красовались расшитые шелком татарские сапоги, снятые им с повешенного сыщика.

Пугачёв искал случая, чтобы укрепить в своем молодом войске незыблемую уверенность, что есть он не вор Емелька, как внушало казакам яицкое начальство, а истинный государь.

— Позвать сюда старшину Витошнова! —

велел он.

Начальник передавшейся вчера сотни, Андрей Витошнов был человек старый, сухой, лицо скуластое, со втянутыми щеками, борода седоватая, взгляд исподлобья, хмурый.

Пугачёв уселся на покрытый ковром пень. Подошедший Витошнов оказался как раз под виселицей, петля болталась над самой его головой.

Пугачёв устремил на старика пронзительный взор свой. Сердце Витошнова захолонуло.

— Ты, старик, много разов бывывал в Питенбурхе. Видал ли меня там, владыку своего? — внятно спросил Емельян Иваныч.

Казак разинули рты, ждали, что ответит старшина. Витошнов потупился, переступил с ноги на ногу и, запинаясь, ответил:

— Кабыть, видал, батюшка. Помню.

Глаза Пугачёва засияли. Он поднялся, громко сказал:

— Слышали ль, детушки, что старик молвит? Видал меня в столице и ныне признал во мне третьего императора Петра Федорыча.

Казак ответили одобрительным гулом. Из толпы раздались голоса:

— Надежа-государь, а что повелишь делать со старшинскими змеенышами?

— Надлежало бы их на путь наставить да к присяге привести. Авось в ум войдут да нам верно

служить будут, — присматриваясь к толпе, сказал Пугачёв.

Поднялся шум. Два степенных казака, Овчинников да Максим Шигаев, стали внушать «батюшке», что казачество этим людям не верит. Они, мол, богатенькие, им и присяга не присяга, они, мол, все равно государевых слуг мутить станут.

— В прошлом году зимой — тебе, батюшка, ведомо — в войске яицком мутня была, — сказал Максим Шигаев, помахивая концами пальцев по надвое расчесанной бороде, — в те поры наши казаки генерала Траубенберга прикончили. Так уже мы знаем, что эти молодчики старшинской руки держались, супротив громады шли.

— В нас, в казаков войсковой бедняцкой руки, картечами палили!

— Истинная правда... Так! — снова зашумели в толпе.

— Не лучше ль, батюшка, ваше величество, — сказал Овчинников, — повесить их, чтоб им в наказанье, а прочим во страх.

— За Витошнова-старика мы поручимся, — кричали казаки. — И за Гришуху Бородина поручимся, даром что он племянник Мартемьяна, нашего гонителя. А этих — смерти предать! Довольно им измываться над нами!

Пугачёв насупился, невнятно пробурчал:



«Верно, ежели попала под каблук змея — топчи!..»  
— взмахнул рукой и резко возгласил:

— Быть по-вашему!

Кривой, «страховидный» казак Бурнов, избравший себе службу царского палача, поспешил исполнить повеленье «батюшки».

## **Глава 4**

### **Именное повеление. Клятва. «Бал продолжается!»**

#### **1**

Капитан Крылов возвратился домой поздним вечером, было темно, в теплом небе звезды мерцали, Ваня уже спал.

— Ну, мать, пропало войско яицкое, — раздраженно сказал он жене. — Казачишки бегут к вору, как полоумные... Ужо-ко он медом будет их кормить.

Андрюшка Витошнов сбежал, старый черт, с целой сотней дураков, да утром утекло полсотни... Заваривается каша!

Семеныч подал капитану умыться, капитанша принесла бок жареной индейки да флягу с травничком, однако Крылов за стол не сел, а поспешил к коменданту.

У Симонова сидели Мартемьян Бородин и секунд-майор Наумов, пили чай с вареньем из ежевики и с сотовым медом. Крылова пригласили к столу. Вместо захворавшей комендантши чай разливала Даша, миловидная девушка, приемная дочь Симонова.

— Подкрепился дома-то? — спросил Симонов Крылова.

— Не успел, господин полковник.

— Дашенька, скомандуй-ка борщу капитану...

Отменный борщ!

Крылов вынул из кармана бумагу мятежников и, рассказав, как она попала к нему, передал её коменданту.

Тот надел очки, приблизил к себе свечу, стал вслух читать:

— «Войска Яицкого коменданту, казакам, всем служивым и всякого звания людям мое именное повеление».

— Ах, бестия! Складно... И почерк добрый, — встряхнул бумагой комендант. — Неужели сам он, Пугач, писал?

Мартемьян Бородин заглянул через плечо Симонову в бумагу и, распространяя сивушный дух, прохрипел:

— Сдается мне — Ванька Почиталин это. Его рука. Его, его! Он лучший писчик по всему Яику, он, помнится, мои атаманские реляции, на

высочайшее имя приносимые, перебелял... Он, он!..  
Недаром к вору удрал, наглец...

Только бы поймать, праву руку отсеку пашенку! Стойте-ка, — тучный Бородин, опершись о столешницу, поднялся, шустро подошел к окну и, распахнув раму, заорал во тьму сентябрьской ночи:

— Эй, казак!.. Дежурный! Скачи к Яшке Почиталину, веди его, усатого дьявола, на веревке в искрянную избу либо на гауптвахту. Да пук розог приготовь! Приведешь, мне доложишь...

— Напрасно хлопочешь, Мартемьян Иваныч, — вмешался Крылов, с аппетитом хлебая борщ. — Яков Почиталин и племянник твой Григорий с казаками к вору утекли...

— Да ну-у?! — протянул Бородин и снова заорал в окно:

— Эй, казак! Отставить!

Симонов, поморщившись, сказал Бородину:

— Экой ты беспокойный. Сядь, — и стал продолжать чтение «воровской» бумаги:

— «Как деды и отцы служили предкам моим, так и мне послужите, великому государю, и за то будете жалованы крестом и бороною, реками и морями, денежным жалованьем и всякою вольностью». (Вот он чем берет их, болванов, — заметил Симонов.) «Повеление мое исполняйте и со усердием меня, великого государя, встречайте, а если будете противиться, то восчувствуете как от

бога, так и от меня гнев. Великий государь Петр Третий Всероссийский».

Симонов отшвырнул бумагу, а Бородин затряс усищами, зашумел:

— Встретим, дай срок! Уж мы тебя, злодея, встретим... Ах, ты, каторжник, ах ты, рыло неумытое. Царь... Ха-ха-ха! Мы те покажем Петра Третьего Всероссийского!.. А нут-ка, Андрей Прохорыч, отмахни мне кусочек поросятинки. Ха, подумаешь, дерьмо какое, в цари полез!.. Дашенька, подай мне, старику, горчички да водочки чуток... С горя, ей-богу, с горя! Ведь я, Дашенька, кумекал с Гришкой округить тебя святым венцом, а глянь, что вышло... Ну, подожди ж, племянничек родимый...

В просторной горнице темно, лишь две свечи в бронзовых подсвечниках горели, и никто не заметил, как густо скраснела Дашенька: у ней на сердце не Гришка Бородин, а гвардии сержант Митя Николаев. Где-то он, благополучен ли? Поди, уж к Оренбургу подъезжает. Ой, Митя, Митя!.. Уехал и проститься позабыл.

...А в это время сержанту Николаеву рубили ножом косу: подвели к стоячему дереву, примостили затылком да и тяпнули.

— Ну вот, и казаком стал, — проговорил краснощекий Тимоха Мясников и бросил пук волос в траву.

— А ведь ты, Николаев, из господишек: либо

сбежишь, либо нас продашь, — сказал Митька Лысов и зло захохотал.

— Ни то, ни другое, — сердито возразил сержант. — Не хуже вас служить стану государю...

— Ой ли?.. — и нахрапистый Митька, опять захохотав, погрозил сержанту пальцем.

...По белой стене мотались-елозили тени от сидящих за столом. Вот одна быстро издыбила и уперлась головой в потолок. Это поднялся комендант, полковник Симонов:

— Значит, как я и говорил вам на совещании... (Крылов, опоздавший к совещанию, особо внимательно вслушивался в слова начальника.) В перспективе предстоят нам немалые хлопоты со злодейской толпой. Добро, ежели поймает вора... Только как ловить будем, какими силами? У меня пятнадцать штаб-и обер-офицеров, пятьдесят три сержанта с унтер-офицерами да семьсот человек рядовых, ну еще сотня оренбургских казаков, на коих, признаться, я шибко-то положиться не могу. Вот и вся моя воинская сила! А крепостца наша, увы, в самом плачевном положении. Вот в каких обстоятельствах застаёт неимоверный по внезапности и каверзный по дерзости своей подлый казус. И доверительно вам говорю, господа командиры, не могу я решиться на риск вывести все наши силы за городок, чтоб сразить злодея:

выведешь, да, чего доброго, и назад не вернешься. Ведь сами знаете, каково настроение яицких казаков и всех жителей в городке, население при всякой в наших рядах заминке примет сторону самозванца.

— Искру туши до пожара, беду отводи до удара, господин полковник, — сказал Крылов.

— То-то же и есть! — в волнении воскликнул Симонов, ероша стриженные в бобрик волосы. — Пуще всего опасаясь, что искра разгорится в пламя... при нашем невольном попустительстве. — Он вздохнул и потупился. И все вздохнули. — Итак, взвешивая обстоятельства, нам волей-неволей остается взять тактику оборонительную. И положиться на господа бога, а наипаче на самих себя. Гм, гм... Надеяться на помощь Оренбурга вряд ли следует: Рейнсдорп сам может оказаться в опасном состоянии. Да еще неизвестно, когда мой курьер сержант Николаев доскачет до него, а может, и вовсе не доскачет... — потряхивая головой, тихо, с грустью, закончил он.

Черноволосая круглощекая Дашенька при этих словах заморгала и незаметно смахнула тонкими пальцами наверхнувшиеся слезы.

Гости раскланялись с хозяевами, пошли к выходу. Симонов, остановив Бородина, взял его под руку, отвел к окну.

— Вот что, господин старшина, — сказал

он, — хотя ты такой же полковник, как и я...

— И сверх сего бывший войсковой атаман, — проговорил басом Мартемьян Бородин, вскинув на Симонова мутные полупьяные глаза.

— Да, — подтвердил Симонов. — Но все-таки хоть ты и «сверх сего», а подо мной, брат, служишь, ибо я комендант вверенной мне её величеством крепости. А посему, имея в виду времена тревожные, приказываю тебе: пить брось! — резко сказал Симонов. — Ежели хоть однажды нарушишь мое приказание — на меня не пеняй: тотчас будешь посажен на гауптвахту и к тебе будет приставлен лекарь с пиявками и рвотным...

— Да боже сохрани! Да что вы, Иван Данилыч, батюшка. Брошу, брошу!..

Ведь я и не пью много-то. Ведь это я с праздника покуролесил, Воздвиженъев день был, — заторопился, запыхтел Мартемьян Бородин, — двадцать пять лет верой и правдой служу всемилостивой. И верность свою докажу её величеству.

Рубите мне голову с плеч, ежели я на аркане не приведу к вам вора Емельку! — потрясая кулаками и жирным загривком, закричал Мартемьян Бородин, отечные мешки под его глазами взмокли, он скривил рот и пьяно завсхлипывал.

Оба полковника обнялись и простились.

Симонов остался в столовой один. Да еще Дашенька тут же прибирала посуду. Он оперся о стол ладонями, опустил черноволосую, с легкой проседью голову и желчно подумал про только что ушедшего Бородин: «Неуч, лихоимством и подлостью стяжавший немалые богатства. Рабов, негодяй, завел себе из калмычишек. Если б не был ты мздоимцем да утеснителем, и восстания на Яике не случилось бы. А не было бы восстания, и Пугачёв в здешних местах был бы немыслим. Ты, Мартемьян Бородин, создал Пугача!»

— Вы что сказать изволили, папенька? — спросила Даша.

— А? Нет, я ничего, — откликнулся Симонов. — Иди-ка, там тебя на кухне Мавра ждет.

Даша вытерла большую фарфоровую кружку петербургского ломоносовского завода и, вздохнув, вышла. Как только захлопнулась за ней дверь, Симонов схватил из шкафа штоф с водкой, с проворностью налил почти полную кружку, перекрестился, выпил залпом, крикнул и, махнув рукой, побрел к себе в спальню.

## 2

К полдню, приблизясь к городку версты на полторы, толпа в нерешительности остановилась: на том же месте, как и вчера, стоял отряд



секунд-майора Наумова, впереди отряда густые рогатки, а перед рогатками — четыре полевые пушки.

Лишь только часть Пугачёвцев пошла, для пробы, конным строем на отряд, пушки загрохотали, засвистела картечь, конники повернули обратно.

Огорченный упорством Яицкого городка, Пугачёв на совете сказал:

— С голыми руками супротив пушек соваться нечего. Я свое войско верное зря тратить не стану. Пойдемте прочь куда ни то. Авось, одумаются, гонцов за нами спосылают. Тогда с честью войдем в городок.

— Пойдем, ваше величество, по линии до Илецкой крепости, — мазнув по надвое расчесанной темно-русой бороде, присоветовал высокий, сутулый Максим Шигаев. — По пути форпосты встренутся, людей да пушки забирать там станем.

Казаки поддакнули Шигаеву. Пугачёв подумал, снял шапку, почесал затылок. Ему нравился этот степенный казак с умными серыми глазами, да, в сущности, и спорить-то было не о чем.

— Ну ин пойдем по линии. Так тому и быть, — сказал он.

Двинулись степной дорогой вверх по Яику.

Возле форпоста Рубежного, пройдя полсотни верст, толпа остановилась на роздых. После обеда Пугачёв велел трубить сбор в казачий круг. Снова залился-зазвенел рожок губастого Ермилки. Звание горниста было его гордостью.

Когда круг собрался и Пугачёв вошел в него, шапки с голов как ветром сдунуло.

— Вот, детушки, — громко начал Пугачёв, — вас теперь у меня поболее четырех сотен. Неверная жена моя, немка окаянная Катерина, что со дворянами престола родительского лишила меня, она и вас всех, детушки мои, пообидела, лишила войско яицкое привилегий и вольностей и замест атамана подсунула коменданта Симонова. Ну, бог ей судья. А вот я, третий император Петр Федорыч, обычаи ваши древние блюду и сызнова дарую вам казацкое устройство, согласуемо древним обычаем. И положил я подкрепить вас чинами и званием, чтобы вы не бегали от меня, а были во всем довольны. Сего ради повелеваю выбрать вам себе вольным выбором атамана, полковника, есаула и четырех хорунжих. А ты, простой казак Давилин, отныне будь при моей особе дежурным, вроде адъютанта... Ну, с богом!

Казаки закричали «ура», стали швырять вверх шапки. Пугачёв поклонился кругу, отер пот с лица и пошел в свою палатку. Его поддерживали под локотки Яким Давилин и Зарубин-Чика, искренне

привязанный к государю и больше всех оберегавший его.

Уж солнце стало садиться, когда Емельяну Ивановичу доложили, что круг закончил свое дело.

Андрей Овчинников выбран войсковым атаманом, Дмитрий Лысов полковником, старик Андрей Витошнов есаулом, Кочуров, Григорий Бородин и еще двое — хорунжими.

— В сем звании вашем мы согласны утвердить вас. Служите мне и делу нашему верою и правдою, — торжественно молвил Пугачёв стоявшим на коленях выбранным и допустил их к целованию руки. Поискав глазами, подозвал он к себе сержанта Николаева:

— Исполнил ли ты, молодец, повеление мое, написал ли присягу?

— Готова, ваше величество, — и сержант с учтивыми поклонами поднес государю лист бумаги.

— Секретарь, огласи присягу, да погромче, чтоб многому людству слышно было.

Иван Почиталин принял с поклоном из рук государя лист, вскочил на телегу, где, хлопая крыльями, горланил на всю степь красноперый петух, и неспешно, смакуя каждое слово присяги, прочел:

— «Я, казак войска государева, обещаюсь и клянусь всемогущим богом, пред святым его евангелием, в том, что хочу и должен

всепресветлейшему, державнейшему, великому государю императору Петру Федорычу служить и во всем повиноваться, не щадя живота своего, до последней капли крови, в чем да поможет мне господь бог всемогущий».

Все казаки стояли без шапок, каждый вскинул вверх правую руку.

— Клянетесь ли повиноваться мне, своему государю? — спросил Пугачёв.

— Клянемся! — гаркнули во всю грудь казаки, потрясая шапками. — Верой и правдой служить обязуемся!

— Клянетесь ли, что не спокинете меня, государя своего, и не разбредетесь по ветру, покамест мы вкупе не повершим дела великого?

— Клянемся, надежа-государь! Повелевай нами, свет наш!

Долго еще слышалось по степи: «Клянемся, клянемся!» Сам государь и большинство казаков смаргивали наверхнувшиеся слезы. Государь любовался бравыми, готовыми на подвиг молодцами, казаки любовались государем. От сердца к сердцу, из очей в очи шли невидимые токи взаимного доверия между вооруженной ратью и вождем ее.

О завтрашнем дне не думалось на людях. Только ночью, когда в изголовье — боевое седло, у ног конь привязан, а вверху бескрайняя крыша в

звездах, мятежному казаку, будь он молод или стар, не дают покою думы о будущем. Казак ворочается с боку на бок, надвигает шапку на глаза, на уши, чтоб забыться, но думы не покидают его, и думы эти страшны. Они страшны потому, что к прошлому нет возврата, что навсегда отрезан путь к семье, к горькому родному дыму, от которого порой, быть может, градом катились из глаз слезы.

Прощай, прошлое, прощай, родимая семья! Теперь казак-мятежник живет лишь настоящим часом.

А в настоящем — яркое солнце светит, в небе журавли летят, пылит дорога, надежда-государь со свитой едут, знамена реют, телеги тарыхтят, и красноперый приبلудный петух поет свое «кукареку».

А там, позади, на страх врагам, покачиваются в петлях одиннадцать раздетых, разутых богатеньких казаков.

И вот уже во сто глоток грянула, взвилась лихая песня. Ежели будет во всем удача, то дня через два, присоединив к себе попутные форпосты, государева рать должна вступить в казачий Илецкий городок.

Не доезжая Оренбурга, версты за три от него, старый яицкий казак Петр Пустобаев услышал в городе пальбу из пушек и приостановился.

— О мать пресвятая богородица... что же это?

Уж не злодей ли окаянный в город вошел? Как бы в лапищи к ему не угодить, в богомерзкие. Чу!..

Опять палят...

На дороге из-за кустов показался верблюд, на нем маленький бронзоволикий черноусый киргиз в малахае. Верблюд, мерно вышагивая и чуть покачиваясь, шел из города. Конь Пустобаева захрапел, заплясал, бросился в сторону. Казак передернул узду, вытянул коня плетью, крикнул:

— Эй, малайка! А что в городе, чи спокойно, чи нет?

— Э-э-э... покой, покой... нашаво... — раскачнувшись, ответил киргиз и, подмигнув казаку, захохотал.

«Пьяная морда», — подумал Пустобаев. Миновав Меновой двор, он въехал в город. Было семь часов вечера, только что кончилась всенощная, трезвонили колокола. На городской окраине избушки, мазанки, либо огород с полверсты, в нем шалаш, а на грядках с капустой вороньи пугала. Сыпучий песок кругом, беспризорно бродят коровы, козы, овцы, с лаем бросаются под ноги казацкой лошадки зубастые псы. Пустобаев работает плеткой направо-налево.

А вот и базар, торговые ряды, соборная церковь, цейхгауз, гауптвахта, дома купцов и начальства, дворец губернатора. Все тихо, разбойников нет, жители ходят спокойно, мирно. И

тут только Пустобаев заметил: у богатых домов, в Гостином дворе и на высоких шестах дворца губернатора развеваются флаги... Вот так оказия!.. Царский день, что ли, какой? А в окнах дворца уйма света, свечи да свечи, как в божьей церкви о пасхальной заутрени.

Он зашел в кордегардию и сказал дремавшему за столом дежурному старому капралу, чтоб тот немедля доложил губернатору о прибытии курьера от коменданта Симонова «по самонужнейшему делу».

— Пакет, что ли, у тебя? Давай я снесу, — потягиваясь и зевая во весь рот, сказал капрал.

— Ну, как можно... Лично, из рук в руки приказано... Самонужнейшее!

— А что стряслось?

— Как что стряслось? Нешто не знаете? Нешто наш сержант не приезжал к вам с донесением?

— Никакого сержанта...

— Ай, боже ж ты мой! — воскликнул бородатый казак, опускаясь на лавку. — Неужто злодей изымал его?

— Да что случилось-то?

— Как что!.. — гулко крикнул Пустобаев и замотал бородой. — По степу Емелька Пугач с шайкой бродит, народ мутит, форпосты берет, к Яицкому городку делал подступ... Ах, боже ж ты

мой... Вот те и Митрий Павлыч Николаев!.. Ну, иди, иди, господин капрал, доложись... А по какому разу у вас артиллерийская пальба и флаги везде выкинуты? Уж не государыня ли матушка именинница?

— Никакая не государыня, а сама губернаторша именинница, сама Росдорфша, вот кто, — с необычайной важностью, очевидно желая поразить воображение провинциального казака, сказал старый, беззубый капрал и самодовольно запыхтел сквозь усы:

— Ну, шагай, проведу тебя в палаты через кухню... Только навряд ли примет сам-то. Поди, выпивши, а то и вовсе раскорячился. Винища этого самого таскали, таскали к обеду, конца краю нет. Целый полк в лоск спoitь можно... На-ка,хвати чарку и ты, — он достал из шкафа с делами штоф водки, поднес казаку стакан и сам выпил.

Пустобаев только теперь заметил, что капрал не особенно тверд на ногах. — Так какой, говоришь, Пугач, что еще за Пугач такой?

— Вот увидишь... А не увидишь, так услышишь...

— А ты не стражай, — пробубнил капрал, направляясь через сад в кухню.

— Мы с его высокопревосходительством и не таких Пугачей пугали. А то заладил — Пугач да Пугач... Тьфу! А еще казак... Шагай веселей!



— Он государем назвался, Петром Третьим...  
Вот он какой Пугач-то!

— То есть как это государем назвался?! — заорал капрал, входя с казаком в кухню. — Ах, государем? Петром Третьим, покойником? Ах ты, сукин ты сын!.. Я те покажу... Эй, повар, прачка, кухарка, хватайте разбойника, бунтовщика! Я те покажу, как государем называться! — И капрал сгреб казака двумя горстями за густую бородищу.

— Да ты что, пьяная твоя харя! — заорал казак и смаху брякнул капрала на пол.

Вся кухня враз захохотала. Казак присмотрелся: кухня была пьяна.

Вошел молодой офицер.

Казак стоял в передней вот уже порядочно времени, а из покоев никто не появлялся. Где-то в задних комнатах сотрясала стены духовая музыка, раздавался размеренный трескучий топот и лязг шпор — должно быть, шли там плясы. При свете двух оплывших свечей на подзеркальнике казак осмотрел себя в огромном, от потолка до полу, зеркале: русая, с сильной проседью борода целехонька, от капральских пьяных лап, кажись, ни один волос не пострадал. Ну и слава те господи!

В соседнем зале беготня, выкрики, визгливый женский хохот — надо быть, в жмурки господа играют. Казак услышал приближавшиеся к передней мужские голоса, отскочил от зеркала, вытянулся в

струнку.

— Да, да, да... Касак? Ах, касак?.. От Симонофф?.. Где он, где?

В переднюю вошли четверо: сам генерал-поручик Иван Андреич Рейнсдорп, два его адъютанта и молодой офицерик, что повстречал казака в кухне.

Губернатор был невысок и мало осанист, с круглым брюшком, ножки тонкие, в длинных чулках, башмаках и серого цвета атласных кюлотах. Такой же, со срезанными полами, кафтан, расшитый серебряной травкой, на кафтане — звезда, кресты, медали. Яйцеобразное, покрасневшее от выпивки лицо губернатора было маловыразительно: преобладали черты туповатости, чванства.

Из апартаментов в переднюю он нес себя как бы на цыпочках, прижав локти к бокам, оттопырив мизинцы и слегка повиливая бедрами. Увидав в отдалении замершего на месте человека, он приостановился, вскинул к глазам лорнет, оправленный в черепаху и золото, и стал наступать на Пустобаева.

Позабыв дышать, дюжий детина глядел в лицо генерала бодро и преданно.

Генерал ближе, ближе... И вот лорнет его уперся в бородишку казака. «Гм», — сказал генерал и стал отступать, пятясь задом. Остановился, чуть

выставил правую ногу вперед, выпятил грудь, чтоб казаться воинственным, и командирским охрипшим баском крикнул с задором:

— Здорово, касак!

— Здрaвы бывайте, ваше высокопревосходительство! — выкатив глаза, гаркнул казак-бородач с такой силой, что подвыпивший губернатор покачнулся, удивленно вскинул рыжие брови и, обернувшись, подмигнул толпившимся возле дверей гостям:

— Вот голос... Оччень, оччень карашо... Кто такой, что скажешь, касак? — и губернатор снова поднес к большим карим глазам изящный лорнет свой.

— Дозвольте репортовать! Строевой казак Яицкого городка Петр Пустобаев, спосылован господином комендантом Симоновым с важным пакетом к вам, батюшка, ваше высокопревосходительство, и повелено мне оный пакет препоручить вам в собственные ручки... Дозвольте репортовать!

Губернатор, оттопырив мизинец, украшенный бриллиантовым перстнем, с миной безгливости принял пакет за уголок двумя пальцами и чрез плечо протянул его адъютанту:

— Симонофф... пакет... Что за экстренность? Можно бы повременить! У меня, видишь, бал.

— Самоважнейшее дело, батюшка! — опять

гаркнул Пустобаев. — Господин комендант приказал: ежели, говорит, тебя, Пустобаев, в дороге словят злодеи да пакет отберут, ты, говорит, ежели, говорит, от петли избавишься, как можно старайся утечь от разбойников и прямо, говорит...

— Тсс... Стой, касак!.. Какие разбойники, какая петля? Какая утечь?

Пфе... Гаспада! Ви слышате? У меня в губернии тишь да гладь, да божья благодать. А они там, а они с Симонофф... — вспетушился, засеменял взад-вперед ножками губернатор.

— Насмелюсь доложить. К Яицкому городку подступал намеднись Емелька Пугачёв, с изменниками... Он государем себя назвал, Петром Федорычем, силу скопляет, грозит, лиходей, всех перевешать, кои не согласятся признать его богомерзкую харю за государя покойного...

— Што, што, што?! — губернатор округлил рот, вскинул к глазам лорнет, попятился.

И среди гостей, толпившихся в дверях, раздались восклицания любопытства, тревоги.

— Пасфольте, пасфольте... — бормотал губернатор, то повертываясь в сторону гостей, то устремляя свой взор на казака. Его жирное, яйцеобразное лицо еще более покраснелось, темно-рыжие букли с косичкой жалко мотались.

— Или я оччень есть пьян, или твоя Симонофф, как это... ну как это?.. Твоя Симонофф

сбился с ума... есть помешанный... Его маленечко надо в дольхауз сажать. Но я, кажется... я, кажется...

— Иван Андреич!.. Вы ни капельки не пьяны, вы душка, — прозвенел от дверей голосок, и маленькая блондинка с крупным бюстом, одетая в бальное, смело декольтированное платье, вольным жестом послала молодящемуся губернатору воздушный поцелуй. — Кончайте же скорей, Иван Андреич... Нас ждут фанты...

Глаза губернатора потонули в блаженной улыбке. Забыв про яицкого казака, коменданта Симонова, злодея Пугачёва и обратясь всей своей персоной к блондинке с пышным бюстом, он поцеловал концы собственных пальцев:

— Данке зер, данке зер... Один момент, и я... тотчас, тотчас...

— Пугач от Яицкого городка отогнан, ваше высокопревосходительство!.. — гаркнул казак, с удивленьем и злобой посматривая на генерала и на барыньку. — Так что полторы сотни наших казачишек ускакали к нему, к злодею... Дозвольте доложить! Передались, значит...

— Шо, шо, шо? Как ты скасал, дружок? Ах, ты еще здесь? Поручик! Распоряжайтесь касаку водка...

В толпе громко зашептали: «Кресло, кресло генералу». В дальних комнатах продолжала греметь

музыка, все так же слышался трескучий, подобный ружейным залпам, топот лихих танцоров.

— Данке! — Поблагодарив услужливого офицера, губернатор устало опустился в придвинутое ему кресло. — Гаспада! Я слышаю битого час вот этот касак и нисшшево не паньмайт... — развел он руками. — Пугашов, Пугашов... Какой такой Пугашов?..

— Ваше высокопревосходительство! — с ноткой досады в голосе воскликнул адъютант, держа в руке рапорт полковника Симонова. Он все время порывался доложить губернатору содержание бумаги. — Разрешите...

— Ба! — прервал его генерал, ударив себя ладошкой в покатый морщинистый лоб. — Припоминайт, припоминайт... Вильгельмьян Пугашов... Знаю!

— Осмелюсь, генерал, доложить...

— Знай, знай!.. Лютше вас знай... Он каторжник, рваный ноздря. Был схвачен, посажен в казанский тюрьма, но милейший Яков Ларионович Брант очшень маленечко прозевал его, и сей каторжная душа маленечко ату, ату... бежалъ...

— Разрешите, генерал, — и адъютант в лакированных ботфортах щелкнул шпорами. — Его сиятельство Захар Григорьич Чернышев, не далее как месяц тому назад...

— Знай, знай!.. Лютше вас знай... Граф

Чернышев приказал хватать его, хватать! — Губернатор оскалил белые ровные зубы и срыву схватил руками воздух. — И што же? Я выпускал своя канцелярия сотни бумаг, сотни наистрожайших приказов... Но где его поймать? А вот он... он, рваный ноздря, сам дается в руки... Хе-хе-хе... Гаспада! Нет, ви слышите, ви слышите?... Государь... Петр Федорыч... Симоноффа напугал... Хе-хе-хе!

Слюшай, касак! Разговаривай Симонофф, пусть он спит спокойно. Таких Петр Федорычев мы маленько вешаем и плеточкой стегаем до самой смерть...

Генерал Рейнсдорп зорко смотрит своя губерния, и государыня императрисс им оччень, оччень довольна. И сей злодей потерпит казнь сами люта... Только, полагаю, сей злодей и в поминках нет. Видумка, фата-моргана, сказка...

Пфе, пфе...

— Разрешите, генерал. Комендант Симонов излагает факты... И факты содержания весьма острого...

— Только не тотчас, не тотчас, — вскочил с кресла генерал и, прижав локти к толстым бокам, отмахнулся ладонями. — Зафтра, поручик, зафтра.

Горячка нет, пустой вздор. Слюшай, сержант! Отведи, голубчик, касака на кухня, чтоб был сыт, пьян и... и... нос в кабаке. Прощай, касак! Обнимай

меня, генерала... — и губернатор, благосклонно улыбаясь, двинулся навстречу казаку.

— Не могу насмелиться, ваше высокопревосходительство, — попятился Пустобаев и провел рукавом кафтана по губам, чтоб приготовиться к поцелую.

— Не достоин я...

— А вот я насмеливаюсь, я достоин! — низкорослый генерал обнял верзилу и поцеловал его в бороду. — О! Учитесь, молодежь, как надо обращаться рюска простой шалвек... — сказал губернатор.

Офицеры с улыбкой пристукнули каблуком о каблук. А казак Пустобаев запыхтел, завздохал. Губернатор быстро повернулся кругом, щелкнул пальцами:

— Але, але, гаспада... Бал продолжается! — и, окруженный толпой гостей и подхваченный под руку блондинкой, он направился в апартаменты.

— Люблю простой рюска народ, люблю касак!.. А образованный класс, о, нет, нет... где-то там, в облаках... мечты, химеры, а штоб твердо на почва стать, нет того, нет того... Вот я — немец... с гордостью говорю — немец... У-ти-ли-таризм! О! Чтоб не сказать более... Гаспада! В фантики...

Гоп-ля! Больше жизни!.. Бал продолжается!.. А где ж именинница?

Возвращаясь ни с чем из Оренбурга, казак



Пустобаев у самой Татищевой встретил запряженную парой кибитку с рогожным кузовом, её сопровождали два верховых казака.

— Ой, матушка! — заглянув внутрь кибитки и узнав в сидящей там женщине капитаншу Крылову, вскричал Пустобаев, сдернул шапку, соскочил с коня. — Да куда же вы собрались? Уж не в Ренбурх ли?

— В Оренбург, в Оренбург, — сказала капитанша, высунув из кузова бурое, пропылившееся лицо. Кибитка остановилась. — Андрей Прохорыч так распорядился, отправил нас с Ваней, а сам, голубчик, один-одинехонек остался... в этакую-то страсть... — капитанша выхватила из рукава беличьего салопы носовой платок и всплакнула.

Рядом со смуглой, сухощавой капитаншей сидела дородная нянька, а меж ними — Ваня. Он безмятежно спал, перегнувшись в колени матери.

— А что ж, матушка... И верно рассудил Андрей-то Прохорыч... Неровен час... А в Ренбурхе от злодея сподручней отсидеться-то можно... Ну, да бог хранит... А как же, матушка, вас ангелы божьи невредимо чрез толпу-то злодейскую пронесли?

— Да ночью проскочили... Ой, да и страху было. Ведь они подле Илецкого городка стоят. А вот бог пронес.

— Я, матушка, в обрат возьму, провожу вас до Ренбурха-то.

— Что ты, что ты, Пустобаев! Поди, тебе губернатором спешное поручение дадено...

— Да нетути, матушка. Именины, вишь ты, у губернатора-то, сама генеральша именинница, гостей полон дворец, и все пьяные, и губернатор под турахом. Дак ему не до Пугачёва! Полопотал, полопотал дурнинушку какую-то, покривлялся, опосля того возгаркнул: «Продолжайте бал!» — да с тем и убрался... Э-эх... Одно званье, что губернатор...

Капитанша словам Пустобаева подивилась и разрешила сопровождать её до Оренбурга. Пустобаев обрадовался. У него страшно болела голова, он прошлой ночью в генеральской кухне столь усердно наакался водки да всяких вин, что с ним лихо приключилось, на весь губернаторский дом стонал и охал.

Теперь в самый раз будет в Оренбурге опохмелиться.

Сзади кибитки примостился на сене хромой солдат Семеныч, денщик капитана Крылова. Его голова с потешной косичкой моталась, как у мертвого барана. Старое, изморщенное лицо было красно, он пускал слюни и сладко спал.

— Пьяный?

— Пьяный, — улыбаясь, ответили едущие в

ряд с Пустобаевым казаки. — Дважды с козел кувыркался. Ну-к мы прикрутили его полотенцем к задку. Тут спокой!

— А где же добыл он вина-то? — с надеждой спросил Пустобаев.

— Да вином-то мы, слава те Христу, мало-мало запаслись, — сказал молодой казак. — Не хошь ли, дед?

— А ну дай чуток сглотнуть... Дюже башка трещит.

Могутный и широкоплечий, он приостановился, ужал в пудовую лапищу глиняную баклажку с водкой, задрал седоватую бороду и, что приняла душа, — откушал.

Вот и слава богу, и развеселился. Догнал кибитку, перегнулся в седле, заглянул в лицо Крыловой, гулко прокричал:

— Вспомнил, матушка! Ей-богу, вспомнил...

— Что вспомнил-то?

— А как же, — заулыбался Пустобаев, оттопырил большой палец и с маху ткнул им в свою грудь. — Его высокопревосходительство изволили меня самолично в бороду причмокнуть.

— Да неужто? Поцеловал, что ли?

— Как есть! — еще громче закричал Пустобаев. — Мы с ним оба-два обнявшись были. Я тверезый, они выпитчи...

Крылова улыбнулась, а Пустобаев продолжал,

вдруг похмурил лицом:

— И вот еще что, матушка! Николаева-то нашего, сержанта-то, что с донесеньем к губернатору спосылан, нетути в Ренбурхе!

— Как так? — ахнула капитанша. — Да где же он? Неужто... к злодею угодил.

— Похоже, что так, — трезвея, подал казак голос и тяжело вздохнул.

## Глава 5

### Илецкий городок. Царский лик. Раздумье

#### 1

Новоизбранный атаман государева войска Андрей Афанасьевич Овчинников, имея на левой руке белую повязку — знак власти, въехал с двадцатью конными казаками в Илецкий городок.

Городок расположен на возвышенном левом берегу Яика, вблизи устья реки Илека и в стороне от большого тракта на Оренбург. Кругом по яицкому левобережью тянулась всхолмленная степь. Городок обнесен земляным валом, имеющим вид не правильного четырехугольника, а поверх вала — бревенчатый заплот с раскатами и батареями для двенадцати пушек. В крепостцу вели двое ворот, в ней помещались казармы, покои для

начальства, провиантский магазин, соляная управа, несколько домов зажиточных казаков; остальная же казачья масса жила в трехстах домишках возле вала — здесь был базар, каменная церковь, кой-какая торговля и соляные лавки.

Илецкие казаки права на рыбную ловлю не имели, занимались хлебопашеством, скотоводством, работали по добыванию соли на соляных развалах.

Местность возле городка и даже в самой крепости изрыта глубокими ямами; в некоторых из них копошились киргизы, калмыки и казаки, ломали каменную соль, огромные куски её сваливали на тачки и отвозили к штабелям.

Илецкая высокого качества соль славилась издревле, ею снабжалось почти все Приволжье.

Овчинников остановился со свитой на базаре. Длиннолицый, горбоносый, с русой, кудрявой, как овечья шерсть, бородкой, он сказал толпе набежавших казаков:

— Я послан от самого государя Петра Федорыча...

Но его тут же перебили возбужденные голоса:

— А как же наш атаман Портнов третьеводнись на казацком кругу оглашал бумагу коменданта Симонова, а в оной бумаге сказано, што все врачки, мол, что Петр Федорыч давно умерши, а бунт, мол, бунтит беглый донской казак Емелька

Пугачёв, защищайте, мол, от него, злодея, крепость...

Народ шумел. Овчинников крикнул с коня:

— Братья казаки! Не слушайте никого, меня слушайте. К вам идёт истинный государь, он в семи верстах отсюда. И вы, атаманы-молодцы, дурость свою бросьте, а встречайте его величество с хлебом да солью. А ежели перечить будете да воспротивитесь — смотрите, атаманы-молодцы, государь грозен, непокорных он вешать станет, а городок ваш выжжет и вырубит. Собирайте круг, решайте!

В набат звонить было запрещено. Нашелся барабан. В сопровождении оживленной кучи мальчишек барабанщик быстро прошагал по городку.

Услыхав бой барабана, илецкий атаман Лазарь Портнов взобрался на земляной вал и стал наблюдать, что творится на площади.

Меж тем Андрей Овчинников и с ним шесть казаков из его свиты двинулись к дому зажиточного казака Александра Творогова, знакомого Овчинникову.

Узнав от Овчинникова, что сейчас на кругу решается участь городка и что завтра должен прибыть сюда сам государь, Творогов обрадовался и выразил желание дать приют высокому гостю у себя.

— Уж я всмятку расшибусь, а батюшке утрафлю...

Был вечер. На огонек пришел безбородый, как скопец, Максим Горшков.

Он несколько дней скрывался от преследований Симонова и Мартемьяна Бородина. Он один из той пятерки, которая еще так недавно, запершись ночью в бане Тимохи Мясникова, целовала крест на верность Пугачёву и торжественно клялась хранить известную им пятерым тайну, что Пугачёв не царь, а самозванец. Тайну эту пятерка хранила крепко.

Узнав о том, что «государь» намерен завтра вступить в Илецкий городок, Максим Горшков простодушно обнял Овчинникова, потом Творогова и грубым голосом, с оттенком сильного волнения, воскликнул:

— Ну и праздничек у нас будет! Свет увидим!..

И уже к ночи прибыла к Овчинникову депутация от круга.

Большинство порешило принять государя с честью.

Атаман Лазарь Портнов, еще вчера приказавший вырубить звено в мосту чрез Яик, чтоб воспрепятствовать переправе Пугачёва, только что узнал от своих наушников о постановлении круга и, потеряв мужество, решил этой же ночью

бежать.

Но предусмотрительный Овчинников распорядился поставить возле его дома караул.

\* \* \*

На следующий день к полудню войско Пугачёва через восстановленный за ночь мост переправилось на илецкую сторону.

Возле открытых крепостных ворот большой толпой стояли одетые по-праздничному казаки со знаменами и пиками, женщины, ребята. Впереди толпы два священника в парчовых пасхальных ризах, лохматый дьякон, дьячки и клир с хоругвями, запрестольными крестами, иконами в серебряных окладах.

Вся эта цветистая картина с белой приземистой церковкой, поросшим блеклою травой и бурьяном крепостным валом, выглядывающими из-за него красными крышами построек, полусгнившим, в лишаях, бревенчатым тыном поверх вала и кудрявыми садами возле хат — вся эта необычная картина, мягко освещенная утренним сентябрьским солнцем, поражала и настраивала на особый лад Пугачёва. Он впервые въезжал в укрепленный городок как признанный государь.

В свежем воздухе весело звенькали,



трезвонили, бухали колокола, клир дружно и уверенно пел церковную стихиру, лохматый дьякон, не переставая, махал курящимся кадилом в сторону приближающегося государя, в тысячу ртов кричал приветствия народ, взмахивая шапками, цветистыми шаями, вскинув к небу сверкающий частокол остроконечных пик.

И как только подъехал государь, знамена и пики преклонились, а народ, от беспорточного мальчишки до престарелого попа, стал на колени.

Пугачёв со свитой подъехал ближе, осадил коня, приосанился, обвел толпу неспешным строгим взглядом и громко поздоровался:

— Здорово, господа илецкие казаки!..  
Встаньте, детушки!

Народ дружно поднялся на ноги и, кто во что горазд, до хрипоты кричал:

— Будь здоров, надежа-государь!

Государь соскочил с коня, передал поводья дежурному Давилину, четкой поступью подошел к иконе и, перекрестясь, приложился к ней. Оба священника и дьякон успели благоговейно облобызать руку императорской особы. Пугачёв принял сей знак раболепия как должное, однако левый его ус пошевелился от плохо скрытой ухмылки. Затем он, сделав так же четко полуоборот, принял на оловянном блюде хлеб да соль от Максима Горшкова с Твороговым.

Окруженный народом и свитой, под сенью церковных хоругвей, он затем торжественно прошествовал через крепостные ворота к церкви. По правую и левую руку от него в пылавшей на солнце парче и с воздетыми крестами шли два священника, молодой и старый, а перед царем, пятясь задом, беспрерывно кадил ему лохматый, тоже в золотой парче, соборный дьякон. Дымя ароматным ладаном, он то и дело кланялся великому гостю поясным поклоном.

Колокольный трезвон вдруг смолк, заговорил государь:

— Вы не верьте, детушки, что вам супротивники мои насажут. Я доподлинный государь есть. Служите мне верой и правдой. А я, великий государь, ужо отведу от вас, горемык, утеснения и бедность.

— От утеснения и бедностей избавить обещает! — подхватили в толпе, с улички на уличку. Весть эта от кучки к кучке пробежала по всему городку.

— Когда бог сподобит Питенбурх покорить да престол оттягать, я у великих бояр и деревни и села отниму, посажу их на жалованье, пусть служат. А тех, что с престола меня сбросили, тем без пощады головы порублю. Сын мой, Павел Петрович, человек молодой, так он, поди, и не знает меня, отвык от отца-то... Коим-то веком одно дитяtko

нажито. Дай бог, мне снова свидѣться с ним... — На глазах государя навернулись слезы.

Так, шествуя к церкви, беседовал Пугачѣв с окружавшим его народом, а сам нет-нет да и покосится на идущего рядом с ним старого попа. И вдруг сурово сказал ему:

— Чего пялишься на меня, поп? Не признал, что ли? — и сдвинул брови.

По спине старого попа ледяной холодок прополз, поп обомлел, откачнулся от Пугачѣва, прошамкал:

— Признаю, признаю, батюшка ваше величество... Как не признать!

— А коли признаешь, поминай только мое, государево, имя в церкви, а имя государыни похерь. И чтоб напередки такожде было. Как донесут меня ноги до Питера, я Катерину в монастырь заточу, пускай там грехи отмаливает. А ты, поп, верный народ мой приведи к присяге.

После молебна духовенство первое присягнуло государю, затем присяга учинена была всему илецкому войску.

Когда государь вышел из церкви, загремели ружья, затрезвонили колокола. Он приказал отворить двери кабака, пусть ради государева праздника побалуется народ винишком безденежно.

Но вот лицо его омрачилось, будто вспомнил он нечто досадное.

— А где же здешний атаман... как его... где Лазарь Портнов? Пошто он рапорт не чинил и не присягал мне, государю своему? Уж полно, не утекли хитрец?

— Дозвольте, ваше величество, — шагнул вперед Андрей Овчинников, держа руки по швам. — Оного злодея атамана я своевластно заарестовать приказал. Уж не прогневайтесь...

И люди стали жаловаться государю, что атаман Портнов шибко обижал их и многих вконец разорил. Максим Горшков с Твороговым подтвердили голоса эти.

— Коли такой он обидчик, а мне супротивник, прикажи, Овчинников, чтоб ныне же злодея предать смерти, — сказал Пугачёв.

## 2

Весь второй этаж богатого дома Ивана Творогова отведен для государя.

За накрытым в красном углу, под иконами, большим столом восседает на подушке Пугачёв. Он уже успел побывать в жаркой бане, разомлел, красное лицо его в мелкой испарине, он утирается свежим рушником и пьет холодный настой на малине с медом.

— Доложь мне, пожалуй, Иван Александрыч, как илецкие-то казаки живут, ладно ли? — спросил

ХОЗЯИН.

— Да не ахти как живут, батюшка...

— Ты садись, Александрыч.

Творогов сначала отказывается, затем с низким поклоном нерешительно садится против Пугачёва. Он считает его истинным государем Петром Федоровичем, поэтому в обращении с высоким гостем радушен и чрезмерно подобострастен. Пугачёву это по сердцу, он разговаривает с хозяином милостиво и доверчиво.

Свита государя, во главе с Андреем Овчинниковым, не смея без зову приблизиться к столу, смиренно стоит возле большой, украшенной изразцами печки, посматривает в сторону государя, ловит его взгляды, перешептывается. Государь доволен и поведением свиты. Пусть стоят, пока не прикажет им сесть. На то и государь он!

Стол накрыт на десять персон. Оловянные тарелки, железные вилки, стальные, в костяной оправе, ножи, деревянные ложки. Три серебряные чары, стаканы, кружки, глиняные и стеклянные жбаны, фляги, зеленые штофы дутого стекла. Большая солонка и высокие подсвечники, искусно высеченные из крепкой илецкой каменной соли. Пугачёв любуется всей этой утварью, прищелкивает языком, спрашивает, где сии диковинки выделывают.

— Да у нас же, наши казаки, надежа-государь,

старики которые. Ведь в здешних местах соль ломают.

— Видел! — говорит Пугачёв. — Весь грунт ископанный. Много соли-то?

— Без краю. Инженерной команды офицер намеднись приезжал, сказывал: наша соль первая на свете и хватит её на тысячу лет. А продает её казна по тридцать пять копеек с пудика.

— Дороговато, — сказал Пугачёв, — ужо я сбросить прикажу — чтоб по два гривенника...

— Ой, надежа-государь! Пока вы в баньке парились, наши казакишки всю соль-то из складов растащили безденежно, в грабки...

— Как это можно? — поднял Пугачёв голову. — Давилин! Поди уйми народ... Моим именем...

Давилин сорвался было с места. Хозяин сказал:

— Да уж поздно, батюшка. Что с возу упало, считай — пропало!

— Ахти беда, ахти беда какая! — сокрушенно покачивал головой Пугачёв.

— Этакой убыток казне причинили, неразумные...

В это время три женщины, мать хозяина, его красивая жена Стеша и подросток-дочка, притащили снизу вареву, жареву. Поставив блюда на стол, они кувырнулись втроем в ноги Пугачёву.

Тот заглянул в лучистые Стешины глаза, протянул женщинам руку для лобызания.

— Благослови, батюшка ваше величество, поснедать, — кланялся Пугачёву хозяин.

— Благодарствую, ништо, ништо! — сказал Пугачёв и, обратясь к свите:

— Ну, господа атаманы, залазьте, коли так, за стол. Ты, Андрей Афанасьевич, садись по праву мою руку, — велел он Овчинникову. — Ты, Чика, по леву, а хозяин супротив государя пускай сидит — так во всех императорских сабляях полагается. А достальные гости — кто где садись.

Помолясь на икону, все чинно уселись, женщины ушли, началась еда.

— Завтра, атаманы молодцы, мы государственной важности дела станем вершить, смотренье крепости учиним, в складах наведем ревизию. А сей день — отдых, — сказал Пугачёв, принимая из рук хозяина серебряную чару.

Ели много, смачно чавкая и облизывая пальцы, пили еще больше. Женщины то и дело подносили новые блюда с бараниной, рыбой, курятиной.

Стеша всякий раз, крадучись, поглядывала на красивого, статного батюшку-царя.

Пугачёв слегка охмелел, стал на язык развязен.

— Империя моя богата, — говорил он,

обгладывая куриную ножку. — В Сибири соболь да золото, на Урал-горах железо да медь — там пушки льют. А у вас вот — соль. Вот сколь богата, господа казаки, держава моя великая! С заграницей не сравнить нашу Россишку, далеко не родня. Там только одна видимость. Бывал я в Пруссии у Фридриха, бывал в гостях и у турецкого султана, и у папы римского прожил в прикрытии сколько-то годов, — всего насмотрелся.

И он, не отставая в аппетите и проворстве от прочих едоков, принялся рассказывать о славном городе Берлине, о Кенигсберге, о том, какие в Кенигсберге богатые ярмарки живут и какие на эти ярмарки съезжаются морем и сушей люди со всего света. Тут тебе и поляки, и французы с англичанами, эфиопы и гишпанцы. Еще говорил он о том, как ездил на охоту с Фридрихом Прусским, как они устукали матерущего медведя в пятьдесят пудов, как из райских птиц жареное кушали: ну, такой превкусной пищи сроду не доводилось есть, да навряд ли когда и доведется.

Казаки, уничтожая снесь и пития, слушали государя со вниманием.

Невоздержанный полковник Дмитрий Лысов перехватил хмельного. Сначала икота напала на него, затем сон стал одолевать — он упер плешивую с козлиной бородкой головку в столешницу и громко захрапел. Пугачёв, прервав



рассказ и насупив брови, уставился на него. Еще с первой их встречи на степном уме не лежала у Пугачёва душа к нему.

— Поднять полковника! — приказал Пугачёв. — Пускай прямо сидит пред государем. А не может — уведите его.

Лысова выволокли вон и уложили в сенцах.

Трапеза тянулась допоздна. Все были пьяны, кроме Пугачёва и хозяина.

Все вышли пошатываясь.

Слышно было, как по улицам, с песней, с балалайкой, с бубнами, гуляли илецкие казаки.

Дом казненного атамана Портнова был расхищен дочиста. Казаки принесли Творогову триста серебряных рублевиков, жалованный ковш, два бешмета, кафтан, канаватную лисью шубу и кушак.

— Прймай шурум-бурум для государя!

Государь почивал после обильного обеда. Во сне стонал, скорготал зубами и вдруг вскочил: ему пригрезилось, будто генерал Петр Иванович Панин, крикнув: «Взять Бендеры!», пребольно опоясал его нагайкой. Свесив ноги, Пугачёв сидел на пуховиках за пологом, весь от пота мокрый, хлопал в темноте глазами, не мог сообразить, где он? Неужто в Турции? Но ни Бендер, ни Панина! Мертвая тишина.

— Эй! — крикнул он. Тьма молчала. — Эй!

Где я?

— Здесь, ваше величество! — Из соседней комнаты вышел со свечой хозяин. — Проснулись? Уж очинно мало почивать изволили — часу не прошло...

— Да неужто? — изумился и вместе с тем обрадовался Пугачёв. — А я, брат, взопрел, Иван Александрыч. Дюже мягко у тебя тут да и гораздо угревно под пологом-то. Спасибо тебе. Да ты, часом, не грамотен ли? — спросил Пугачёв, причесывая гребнем взлохмаченную голову.

— Мало-мало грамотен, ваше величество, — и серые, с хитринкой и лукавством глаза Творогова выжидательно воззрились на государя.

— Добро, добро, Иван Александрыч! Грамотеи мне шибко нужны. Послужи, брат, мне. Награждение примешь.

Пугачёв встал и прошелся по горнице, устланной узорными дорожками.

Тут Творогов подал государю присланные казаками вещи. Пугачёв принялся рассматривать их.

— Это называется военная добыча, трохвеи, — оживленно говорил он, примеривая шубу. Он деньги рассовал по карманам — карманы огрузили, шубу повесил на колок и сказал:

— А знаешь, Иван Александрыч, можно ли сюда поболе девок нагнать приглядистых, чтоб

песни поиграли, потешили бы сердце мое царское.

— Ой, батюшка ваше величество! Да разом, разом все сполню! Плясунов не надо ли, казачишек?

— Ни-ни!.. — погрозил батюшка пальцем. — Только мы с тобой — ты да я.

Ну я-то плясать не стану, мне не подобает с простым людом. Ну, а ты-то попляши, ты молодой. Кой тебе год-то?

— Тридцать два минуло, батюшка.

— Добро, добро! Ты вот что, ты никого не пускай, и Давилина не пускай... А караул возле твоего дома держат?

— Держат, батюшка... И две пушки выкачены. — Хозяин быстро вышел, сказав:

— Сейчас холодненького вам пришлю.

Пугачёв распахнул окно. Прохладный воздух ворвался в горенку, и пламя свечей заколыхалось. В небе уже стояли звезды, с площади доносились шумные крики, песни. Вот мимо окон поспешно прошагал хозяин, за ним пробежала его дочь-подросток. А к Пугачёву вошла красивая, полногрудая Стеша, поставила на круглый столик баклагу с питьем, проговорила нараспев:

— Пожалуйста, батюшка, прохладиться!

— Благодарствую, — ответил Пугачёв, внезапно обнял Стешу и с силой поцеловал её в сочные губы, сказав:

— Знай государя императора!

Та охнула, отстранилась, на мгновение закрыла лицо руками, затем руки упали, мускулы лица дрогнули, и не понять было Пугачёву — улыбается Стеша или плачет.

— Свет мой! — страстно выдохнула Стеша.

### 3

Огоньки, огоньки, много огоньков! И девок много! В большой горнице, где был обед, из угла в угол протянуты под потолком крест-накрест две бечевки, к ним привязаны три дюжины свечей, да четыре свечи горели на столе в высоких подсвечниках из соли. Свечи толстые, самодельные, горели ярко, не чадили.

Государь восседал на широком мягком стуле посреди дверного проема в спальню, как врезанная в раму картина. По обе стороны его горели на круглых столиках две свечи, нарочно зажженные Стешей, чтоб лучше был виден лик царя.

Стены оклеены розоватыми, в цветах, шпалерами, потолок выбелен, на низких окнах — кисея и гераньки. На стене у входной двери в порядке развешаны ружья, сабли, прочие военные доспехи. Вдоль стены — прикрытые коврами сундуки с добром.

Осматривая горницу при свете свечей и

наткнувшись взором на окованные жостью сундуки, Пугачёв вспомнил купеческий сундук, добытый им со дна Волги, вспомнил весь свой путь с Ванькой Семибратовым на Каму и вспомнил молодую красотку Катерину. «Вот бы посмотрела теперь на меня, на государя императора», — с невольной тревогой подумал он, дивясь своей судьбе, вознесшей его из безвестного бродяги в степень государя. Вспомнив о далекой Катерине, о соловьиной ночи на реке, он тотчас же перевел свой взор на Стешу, сидевшую в пяти шагах от него. Глаза их встретились. Стеша облизнула губы и потупилась. «Хороша хозяйка, приглядиста!» — вновь подумал он и, заслышав шаги вошедшего в горницу плечистого хозяина с медной сулеей в руке, отвел глаза от запылавшего лица смиренной Стешы.

— Вот, ваше величество, сладкий медок, год в земле зарытый был. Для ради вас выкопал. Выкушайте чарочку. Только дюже крепок он, много пить поостерегитесь, батюшка! — Хозяин, наклонившись, кричал эти слова в самое ухо государю, обычным же голосом говорить было бесполезно: тридцать девушек, сидевших вдоль стен на лавках и на сундуках, с такой силой и с таким самозабвенным азартом горланили песни, что звенело в ушах и вздрагивали стекла.

Пугачёв жмурил довольные глаза то на

голосистых девок, то на колыхавшиеся задорные огоньки свечей. Он выпил меду, крикнул, утер усы, сказал:

— Ну и добер мед твой, Иван Александрыч! Слышь-ка, мне подобает девкам деньги швырять, а у меня рубли. Не можешь ли разбить их на серебряную мелочь, пятаки да гривенники?

Творогов охотно на это согласился. Пугачёв отсыпал ему в полу пригоршню рублевиков и выпил вторую чару меду. В голове у него загудело, по рукам, по ногам потекла пьяная истома. Взглянул на девок, те уже в пляс пошли. Песня, взвизги, топот — дом дрожит!

Девки не больно-то приглянулись Пугачёву: «мелкого роста», плотные, присадистые. «Не девки, а крупа», — разочарованно подумал он. Но вот в плавном хороводе показалась статная, высокая девица. Она то подбоченивалась и улыбочиво кивала головой подругам, картинно вправо-влево изгибалась, вскидывала руку, помахивала платочком, как бы подманивая к себе милого, и, поводя плечами, плыла мелкой переступью по раскидистому кругу.

Пугачёву показалась она столь гибкой, столь прекрасной, что его сердце вперебой пошло, а большие глаза вспыхнули, как у филина во тьме.

Все до единой девки глаз не спускали с Пугачёва, а она хоть бы разок взглянула в его

сторону. Пугачёв мазнул по усам, по бороде ладонью, вздернул плечи, приосанился. А как он считал себя одетым для царской особы не особенно нарядно, то, когда подошел хозяин с целым блюдом серебряной мелочи, он сказал:

— Подай-кось мне шубу сюды, Иван Александрыч, чегой-то мерзну я.

— Мигом, ваше величество!.. Только жарница у нас, с чего бы это вы заколели-то?.. — Пугачёв запахнул накинутую на плечи богатую, с огромным воротником шубу и снова сел, величественный, важный, каким и подобает быть царю.

Все до единой девки, топоча ногами, глаз не сводят с государя, а вот та гордячка только платочком машет и опять никакого внимания ни к государю, ни к его лисьей, крытой алым канаватом шубе. Ах ты, бесенок!..

— Кто такая? — спросил Пугачёв стоявшего сзади него хозяина.

— А это Устинья Кузнецова, ваше императорское величество, яицкого казака Петра Кузнецова дочь. Матери нету у нее, у бедной, сиротка. В наш городок к тетке погостить приехала.

— Не в замужестве?

— Нетути... Ведь ей только шестнадцать годков сполнилось. Вы не глядите, что такая рослая... Девчонка и девчонка!

Пугачёв прищурил правый глаз, засопел

сквозь ноздри, сказал:

— Слушай, Иван Александрыч, я сейчас стану деньги швырять... Что, в полу-то дыр да щелей у тебя нету, не закатятся?

— Пол плотный, батюшка, потешьтесь, пошвыряйте...

Пугачёв ужал в обе горсти мелочь, размахнулся и швырнул в пляшущих девок:

— Лови, красавицы, на орехи да на пряники!

Девки с криком: «Спасибо, батюшка, спасибо, надежа-государь!» бросились подбирать повсюду раскатившиеся деньги. А вот Устинья Кузнецова и не подумала ловить царскую подачку, она отерлась белым платком, оправила волосы и села под окно, к государю боком, точно бы и в помине его нет. Ну, право же бесенок, а не девка!

Государь схватил еще горсть денег, вскинул руку и, словно картечью из пушки, стрельнул прямехонько в Устинью Кузнецову. Но охмелевшая рука промахнулась, серебряная картечь пролетела мимо, ударила в стену, зазвенела, взбренькала и рассыпалась, как град.

— Устинья! — нетерпеливо крикнул Пугачёв. — Подь сюда, девонька!

Она тотчас встала, быстро, четко подошла к государю, низехонько отвесила ему поклон.

Лицо у нее продолговатое, нежное, румяное, аккуратно очерченные губы плотно поджаты,



льняного цвета, вьющиеся на висках волосы заплетены в тугую косу. «Ой, красива!» — про себя молвил Пугачёв, невольно отводя взор от задорно-бесстрашных темных глаз ее.

— Вались, вались батюшке в ноги да целуй ручку государеву, — делая растопыренной ладонью жест книзу, командовал хозяин.

— Не надобно, отставить! — крикнул Пугачёв. Рывком сбросив шубу с правого плеча, он вытащил из кармана горсть серебряных рублей, сказал девушке:

— Подставляй подол, красавица. Прими дар от государя. — Та приподняла концами пальцев красный, в белых кружевах, фартук. Пугачёв всыпал туда деньги:

— А когда станешь замуж выходить, весточку пришли мне, эстафет. Государь желает на свадьбе на твоей пир вести. Ну ступай, красавица, с богом да поиграй мне песенок. Мастерица ты!

Устинья сызнава низко поклонилась государю и, поводя наливными плечами, прочь пошла.

Пугачёв потянулся к третьей чарке. Хозяин только головой крутнул: годовалый мед после третьей валит всякого.

— Опасаюсь, ваше величество, как бы не сборол вас мед-то? — сказал он.

— В препорцию, — ответил государь и, перекрестясь, выпил.

А девки снова завели песни и плясы. Устинья звонко зачинала:

*Чтобы рученьки  
играли,  
Чтобы ноженьки  
плясали...*

Девки подхватывали:

*Ай-люли, ай-люли,  
Скачет заяц в  
криули!..*

Поднялся бурный пляс. Хозяин сбросил кафтан и, ударя ладонями по голенищам, тоже кинулся плясать. Пред охмелевшими глазами Пугачёва все крутилось, метлесило, дом качался, стены прыгали, вихрь по горнице ходил, огоньки свечей мотались ошалело — вот-вот сорвутся и, как жар-птицы, в поднебесье улетят.

— Ай-люли, ай-люли! — гремели песни, и пол с треском грохотал, гудел.

— Ай-люли, ай-люли, — выпив четвертую, затем и пятую чару, стал подпевать, стал прихлопывать в ладоши Пугачёв.

*Чтобы щечки*

*розовели.*

*Девьи губоньки*

*алели...*

— Ай-люли, ай-люли! — гремели голоса, и горбоносый хозяин подскакивал с присвистом под самый потолок.

— Ай-люли, ай-люли, — с улыбкой подпевал счастливый Пугачёв.

Все плыло, крутилось, кувырчалось, а он подпевал да подпевал. Затем откинулся к спинке с гула, блаженно улыбнулся, сказал:

— В пле... в плепорцию... Ась? — смежил глаза и захрапел.

#### 4

Солнце едва показалось, а Пугачёв был уже на ногах. Пошел в баню, чтоб веничком похвостаться да вчерашний хмель выбить. Ну и мед! Затем он завтракал. Хозяин предлагал опохмелиться, Пугачёв наотрез отказался:

— И тебе на деле не советую.

Давилину он отдал приказ, чтоб тот распорядился седлать коня.

— Да немедля передать атаману Овчинникову, чтоб все войско было в крепости в строевом порядке, а илецких казаков выстроить

особо — три сотни, в походной амуниции.

В крепость он прибыл в сопровождении Ивана Творогова и всей свиты.

Опять в честь государя стали палить пушки, но он тотчас запретил — нечего по-пустому порох тратить.

Подъехав к илецким казакам, стоявшим в конном строю, он поздоровался с ними и громко возгласил:

— Господа илецкие казаки! Поздравляю вас с полковником, каковым быть имеет, по моему высочайшему повелению, известный вам казак Иван Александрыч Творогов. Ему покоряйтесь, отселе он главный начальник ваш.

Казаки закричали благодарность и согласие, а произведенный в полковники Творогов скатился с рослого коня и пал государю в ноги. Затем казаки, сотня за сотней, не спеша проехали перед государем.

Государь слез с коня и произвел подробный осмотр крепости. Объяснения давали новый полковник Творогов и бывший сержант, ныне хорунжий Дмитрий Николаев. Были тщательно осмотрены пятнадцать пушек, годными признаны десять, из них четыре медных. У трех не было лафетов, лежали на поломанных телегах. Государь приказал, чтоб к завтраку же были сделаны лафеты.

— Чумаков! — обратился он к яицкому казаку

Федору Чумакову. — Мне вестно, что ты знатец в батарейном деле. Так будь же у меня начальником всей моей артиллерии. Ты вместе с Николаевым забери из складов порох, свинец, снаряды и представь мне оных список.

— Слушаюсь, надежа-государь, — сказал, низко кланяясь, кривоногий сорокапятилетний Федор Федотыч Чумаков. У него круглое костистое лицо, нос толстый, с защипочкой, бурая борода лопатой.

От здания к зданию, от батареи к батарее, обычной своей походкой шел Пугачёв столь быстро, что свита едва поспевала за ним вприпрыжку.

«Ну и легок батюшка на ногу!» — думал всякий.

Обошли крепостной вал.

Все повернулись взором к церкви. Возле нее, на суку древней осокори, висел, руки вниз, разутый и полураздетый атаман Лазарь Портнов.

К Пугачёву вперевалку подошел упитанный, румяный человек с густой опрятно расчесанной бородой, снял обеими руками шапку и, чинно поклонившись, сказал:

— Позволь, надежа-государь, слово молвить. Аз раб божий православной древлеапостольской веры, храмы наши убираю малеванием, а такожде и лики старозаветных икон подновлю. Вот намерднись

довелось мне писать лик старца Филарета, всечестного игумена...

При упоминании о Филарете, игумене раскольничьего скита, что на реке Иргизе, глаза Пугачёва расширились. Еще так недавно, под обликом бродяги, Емельян Иваныч прожил у него в укрытии три дня. Тогда в мятущуюся душу запали многие слова умного старца. Игумен говорил, что Петр Федорыч, может быть, жив, а может, и умер, как знать? Только народ ждет его с упоением. И еще: «Народ похощет, любого своим сотворит, лишь бы отважный да немалого ума человек сыскался», — произнес тогда старец поразившие Пугачёва слова.

И вот сейчас перед ним бородатый богомаз... Уж не обмолвился ли ненароком игумен Филарет, не сказал ли чего лишнего этому человеку? И Пугачёву стало неприятно. Он взглянул на румяного, голубоглазого бородача с немалым подозрением. Но открытое, добродушное лицо живописца успокоило его. Человек в черном длиннополом казакине, на кожаной лямке через плечо висит перепачканный мазками красок деревянный ящичек, кисти рук живописца белые, с длинными пальцами.

— Говори, что тебе надобно и как звать тебя?

— Зовут меня Иван, сын Прохоров. А как вы были, батюшка, скорым заступником веры нашей

древлей, обрелось во мне усердие писать лик ваш царский, — заискивающе улыбнулся живописец.

— Изрядно, изрядно! — Пугачёв покрутил усы, поднял плечи.

— Для ради сего в укромное место куда-нибудь нужно, надежа-государь...

Сержант Николаев, смущенно хлопая глазами, сказал не без робости:

— Наидостойным местом я почел бы канцелярию, ваше величество, там и холст сыщется. Да и находитесь вы своей особой против нее.

— Добро, добро, Николаев! Нехай так, — сказал Пугачёв и пошел в канцелярию. Все последовали за ним.

Сержант Николаев тронул живописца за плечо и показал глазами на висевший в дубовой раме поясной портрет Екатерины: валяй, мол, на нем.

Живописец подморгнул, улыбнулся, кивнул головой в сторону Пугачёва: а вдруг, мол, батюшка на это прогневается. Николаев шепнул: «А ты спроси».

— Ваше царское величество, — масляным голосом обратился бородач-живописец к Пугачёву. Он без тени сомнения принимал его за истинного императора. — Хоша у меня припасена для ради письма лика вашего подгрунтованная холстина, да, вишь ты, беда — подрамника нету.

— Да как же быть-то, Иван Прохоров?

— Да вот как быть... Дозвольте, батюшка, посадить вас на всемилостивую матушку, — и живописец указал рукою на портрет.

Пугачёв пристойно рассмеялся (подражая ему, все вокруг заулыбались), крутнул головой, сказал:

— Ну и штукарь!.. Чего ж ты, бороду, что ли, намалюешь Катерине-то да усы?

— Пошто! Я напредки грунтом её перекрою, а как грунт поджухнет, вас на оном писать зачну.

В канцелярии было довольно светло. Пугачёв обернулся к портрету и прищурился. На него в пол-оборота глядела величавая дама с большими глазами, с поджатыми, слегка улыбавшимися губами, с оголенными круглыми плечами, к правому плечу голубая лента, на груди осыпанная драгоценными камнями звезда.

— Гордячка!.. Заговорщица!.. — Он сдвинул брови, лик его стал грозным. Живописец, неотрывно наблюдавший за Пугачёвым, переступил с ноги на ногу, оробел. — Вот ужо соберу силу да тряхну Москвой, тогда и тебе, красавица, туго будет... Станешь локоток кусать, да не вдруг-то укусишь.

Ладно, сажай на Катьку! — приказал он бородачу.

Портрет сорвали со стены. Пыль, дохлые мухи, паутина, живой паук...

Живописец попросил государя, чтоб все ушли.



Не мешали бы. Пугачёв оставил дежурного Давилина. Живописец раскрыл ящик с кистями и красками в стеклянных пузырьках, заткнутых деревянными пробками. Терпко запахло скипидаром и олифой. Покрыв портрет серым грунтом, бородач сказал:

— Ой, беда, многотрудно писать лик-то ваш, батюшка, зело много скорби в очах-то ваших светлых. А вторым делом, эвот, эвот какие складки меж бровей-то к челу идут, как у Николы-чудотворца, — гневлив на не правду Христов угодник был, — говоря так, речистый живописец перетащил с Давилиным на середину канцелярии дубовую скамью. Давилин свернул втрое свой чекмень и положил под сиденье государя.

Тот сел, расчесал гребнем усы, бороду, приосанился, поправил высокую мерлушковую шапку. Давилин взломал кинжалом запертый кленовый шкаф, добыл голубоватые листы добротной бумаги. Иван Прохоров, близоруко прищуриваясь и оскаливая зубы, внимательно рассматривал лицо Пугачёва и штрих за штрихом накладывал на бумагу очиненным липовым углем. Это был набросок, проба.

— Слышь, Прохоров? — сказал Пугачёв. — А долго ль мне, как статую, сидеть доведется?

— Да не столь долго, надежа-государь,

прожухнет грунт скоренько, у меня средства особые подмешаны... — откликнулся живописец и, чтоб развлечь батюшку, стал рассказывать:

— За веру стражду, ваше величество.

Из богоспасаемого града Воронежа от гонителей веры нашей бежать повелось страха ради. И даде мне приют всечестной старец Филарет, под единою кровлей обретаемся с ним вкупе.

Пугачёв вновь встревожился.

— Сколь давно ты у него проживаешь-то?

— Да с весны, батюшка, с нынешней весны, с месяца мая. Старец-то в Казань меня спосылывал, к Щелокову-купцу. Теперичь в обрат вертаюсь. В Яицкий городок заезжал, а там, ведаешь, рабов божьих нашей веры довольно.

Да беда! В руки Симонова коменданта едва не угодил...

— Ах, наглец, изменник! — сказал Пугачёв, отмахнувшись от мухи. — Не уйдет он от моей царской руки. Его да еще Крылова капитана со всем отродьем в петлю вздерну... Супротивление оказывали мне.

— Ну, вот таперичь, ваше величество, замрите, — прервал царя живописец, взял загрунтованный портрет Екатерины и, помолясь на восток двуперстием, приступил к делу. — Не ворочайтесь, батюшка, сидите смирно.

Да не можно ли в пресветлые очи-то улыбочку пустить, а то горазд хмурый выйдете, батюшка...

— Благодарствую, пущу, — сказал Пугачёв. Но как ни старался, не мог придать глазам веселость.

— Ах, ах! — сокрушался живописец. — Хошь морщинки-то по челу меж глаз как ни то разгладьте...

Портрет писался в напряженном молчании.

Были выписаны глаза да основные черты лица, все же остальное едва намечено.

— Сие распишу и без вашего усердного сидения, батюшка. Зело притомились, поди?

Пугачёв действительно заскучал. Но сознание, что его пишут как царя, давало ему силы переносить скованность неволи...

— Ну вот, присмотритесь, ваше величество...

Пугачёв подошел к портрету.

— Неужто я таков? Горазд грозен да немилостив...

— Сущий вы, батюшка, — что видело око мое, то и на холст положило, — потупясь, ответил живописец. — Взор царственный, вселяющий в души смертных немалый трепет, не правду людскую, аки огонь, сжигающий.

— Давилин, схож ли я?

— Капелька в капельку, ваше величество!

Ежели бороду снять, на великого Петра Алексеича смахивать станете...

— На дедушку моего? Не врешь, так правда! — сказал Пугачёв и вышел.

Портрет ему не понравился. Он ожидал увидеть себя в славе и сиянии, с державой и скипетром в руках. И пожалел затраченное время.

...Через две недели портрет был в келье игумена Филарета. Кланяясь в ноги старцу, живописец восторженно говорил:

— Лик государя объявленного, Петра Федорыча, списал, великого заступника веры нашей...

— Покажи, покажи.

Живописец развязал портрет, упакованный в синюю набойчатую скатерть, и, как некую святыню, подал игумену. Тот долго всматривался в черты изображенного лица. Наконец воскликнул:

— Ай-ай-ай! Хоть и не больно схож, а он... Камо гряди от лица твоего?

Аще взыду на гору, ты тамо еси; аще спущуся во ад, ты тамо еси... Вскую шаташася, — старец произносил слова эти каким-то загадочным голосом, а в его глубоких темных глазах поблескивали огоньки.

Живописец смущенно нашептывал старцу:

— В народе толкуют, атамана Портнова в Илецком городке вздернул царь-батюшка,

Симонова собирается казни предать. Ну и грозен, грозен Петр Федорыч, радетель наш. А власти не признают его, за беглого казака Омельку Пугачёва принимают, окаянные!

Филарет, как вошли в келью, сказал:

— Надлежит сему государеву портрету подписану быть. Мы умрем, а он останется на посмотренье людям.

Зная, что Иван Прохоров не горазд в грамоте, Филарет достал из-за божницы пузырек с чернилами, очинил гусиное перо и приготовился писать.

Перед тем, не доверяя очам своим, он заглянул в пожелтевшую тетрадь с записями о событиях и встречах и на давней странице сыскал строки: «Сего числа имел беседу с забеглым казаком по имени Емельян Пугачёв; нашей веры человек, но дик и странен, донос же попадаем в сиром звании своем гладом духа и проворством помышления».

Живописец, кланяясь в пояс, молвил:

— Ты, отче Филарет, пиши тако: сей-де лик пресветлого императора и государя Петра Федорыча Третьего, великого ревнителя веры нашей древлей, писан-де той же веры Иваном, сыном Прохоровым... в тысяча семьсот...

— Да уж не учи, знаю! — перебил его старец и оправил очки. Скорбно, про себя, в бороду

улыбаясь, он на обратной стороне портрета вывел следующую надпись:

«Емельян Пугачёв, родом из  
казацкой станицы, нашей  
православной веры, принадлежит той  
веры Ивану сыну Прохорову.

Писан лик сей 1773 года  
сентября 21 дня».

## 5

Государя со свитой угощал обедом Иван Творогов. Перед началом трапезы, кланяясь, он сказал:

— Бью челом, хлебом да солью да третьей любовью, — и всем налил водки.

А государю поднесла чару на медном с эмалью персидском блюде сама Стеша. Красивая, рослая, румяная, с лукавым в глазах блеском, она была в лучшем наряде и походила на боярышню.

Но Пугачёв, приняв чарку, хотя и положил на блюдо пять рублевиков, взглянул на Стешу равнодушно.

Обиженная Стеша горестно вздохнула, потупилась. А вот как ей хотелось, чтобы государь чокнулся с ней и при всех поцеловал ее. Неужли эта

птичка остроносая, Устька Кузнецова, батюшку приворожила?

Все выпили в честь новой полковницы-хозяйки и полковника-хозяина, а когда Творогов взял бутыль, чтобы снова налить водки, Пугачёв махнул рукой:

— Убрать! Не гоже теперь.

Казаки переглянулись, бороды их печально повисли. За обедом был совет, куда назавтра путь держать? Решили двинуться к крепости Рассыпной.

— Она крепостца махонькая, ваше величество, — сказал Творогов, покручивая кудрявую бородку. — Она по ту сторону Яика, по пути к Оренбургу. В полугоре стоит. Супротив нее киргиз-кайсаки вброд Яик переходят, народу пакости чинят.

— А кто там комендант и много ли воинской силы? — спросил Пугачёв.

— Комендантом там майор Веловский. При нем полсотни оренбургских казаков да рота старых солдатишек.

— Не больно страшно, — сказал Пугачёв. — Почитайлин, напиши-ка им мой манифест. А где сержант Николаев? Пушай и он вместе с тобой работает, он поболее тебя учился-то.

Казаки опять переглянулись. Им не нравилось, что государь приближает к себе какое-то дворянское отродье.

Сержант Николаев без зова обедать с государем не посмел. Приближенные косятся на него, как на чужака, особенно Митька Лысов, а с ним заодно Давилин. К тому же душевное состояние сержанта было самое подавленное. Он сидел на земляном полу, жевал хлеб с маслом, глаза его застилались слезами.

С трепетом осматривал он последнюю судьбу свою. Предвидение своего трагического конца повергало его в трепет.

— Что я наделал, что наделал... Уж лучше бы быть мне повешенным, нежели изменником... — шептал сержант, но, взглянув на висевший труп казненного Портнова, судорожно передернул плечами. — Ну как мне быть? — уж в который раз безответно вопрошал он самого себя. — Бежать? За мной следят. Да и как явлюсь с обрезанной косой к полковнику Симонову. К тому же предатель возница наверняка всем разболтал, как я кувыркался в ноги Пугачёву. А ежели остаться служить верой и правдой? Но кому служить? И чего эта толпа изменников хочет? Всех их ждет веревка с перекладиной... А вместе с ними и меня!

Он, двадцатипятилетний молодец, стиснул дрожавшие губы, голубые выпуклые глаза его засверкали, пристукнув кулаком в землю, сержант неожиданно для самого себя выкрикнул:

— Служить!



Все в нем замерло, все подчинилось этому внезапному, но крепкому решению. Да, он будет служить новому хозяину, как верный пес. И никаких помышлений об измене!

— Служить! — еще решительней выкрикнул сержант.

Он снова стал взвешивать все обстоятельства, вдумываться в нелегкие, сложные условия предстоящей жизни. Ну, что ж... Пугачёв даровал ему жизнь, приблизил его к себе, и в тяжелый час он, Николаев, всегда найдет у этого человека защиту.

А вдруг Пугачёв воистину есть государь Петр Третий, как о том твердит разбойник Чика и тот старый дурак, Почиталин?

Царь! Пострадавший, убитый, воскресший, ищущий для народа правды!

Диво мне, что он царский облик потерял, — вон сколько в рабском виде жил, простым смердом...

Сержанту показалось, что земля вздрогнула под ним и заколыхалось небо: он закрыл руками лицо, как от сильного света, и повалился навзничь.

— Николаев! Эвот ты где валяешься... Беги скорей, государь кличет...

Он поднял голову. Пред ним стояли два верхних казака. Он вскочил и побежал.

— Дашенька, милая Дашенька! — спотыкаясь,

бормотал он на бегу. — Ты думаешь, что я погиб? Нет, я жив еще... Но — погибаю!

...Дашенька в эти минуты лежала в своей горенке, на деревянной, под кисейным пологом, кровати, её голова завязана мокрым полотенцем, глаза покрасневшие, заплаканные.

Из Оренбурга возвратился сегодня в Яицкий городок старый казак Пустобаев. После доклада коменданту он зашел в горенку Дашеньки и поведал ей горькую весть о том, что сержант Митрий Павлыч Николаев до Оренбурга не доехал, сгинул без вести. Но никто, как бог! Придёт время, суженый возьмет да и объявится. И убиваться столь прекрасной девоньке нечего: в отчаянье, сказывают, грех один, а мы все под милостию божьей ходим.

Ни приемной матери, ни приемному отцу своему Дашенька не обмолвилась ни словом. Рассудительная и своевольная, она решила пережить беду одна.

Ну, может быть, при случае посоветуется с тайной подруженькой, Устей Кузнецовой, девушкой умной, с твердым характером, Дашеньке преданной.

«Эх, Митя, Митя! Неужли же угодил ты в руки разбойника, неужли же злодей голову срубил тебе, а тело бросил на растерзание волков степных?» — мысленно причитает Даша, и белая подушка её мокра от слез.

...И откуда знать было осиротевшей Дашеньке, что Митя её жив, невредим? Вот он сидит в избе с кудрявым молодцом Иваном Почиталиным, и веленьем государя оба сочиняют манифест. Они пишут наспех, государь не терпит промедления и, наверное, укажет им внести какие ни на есть в манифест поправки.

«Сим моим указом в Рассыпной крепости всякого звания людям повелеваю: как вы, верные мои рабы, служили и покорны были наперед сего мне и предкам моим, так и ныне в самом деле будьте верны и послушны, стремитесь с истинною верноподданническою радостью и детскою ко мне, государю вашему и отцу, любовью...»

Сержант Николаев пишет бумагу со всей искренностью, двоедушничать — не в его нраве, ему хочется, чтоб этот бородатый человек остался его трудом доволен и чтоб крепость Рассыпная без пролития крови подчинилась ему.

«Кто же сего моего указа не послушает, тот сам узнает праведный гнев противникам моим».

Окончив, оба молодца направились к государю. Но было уже поздно: стоявшие у крыльца на карауле казаки повернули их обратно:

— Не приказано пущать. Его величество почивают.

Когда Пугачёв ушел на покой в отведенную ему спальню, новая полковница, Стеша, услала своего мужа на тот конец улицы, к дьяконице, за дрожжами — завтра, мол, гостей на дорогу пирогами придётся угостить.

И только новый полковник за ворота, Стеша опрометью вверх по лестнице: надо же царю-батюшке оправить изголовье.

\* \* \*

Комендант Рассыпной крепости, майор Веловский, «возмутительного» Пугачёвского листа не принял. И как стали приближаться Пугачёвцы, он открыл по ним огонь из ружей. Но защитников крепости было весьма мало.

Веловский объявил, чтобы все, кто хочет спастись, бежали в комендантский дом. Офицеры и несколько солдат заперлись в крепком деревянном доме и стали метко отстреливаться из окон. Среди войска Пугачёва были убитые и раненые.

— Зажигай! — кричали озлобленные Пугачёвцы и с пуками горящей соломы стали

прокрадываться к осажденному дому.

Пугачёв послал Давилина с приказом, чтоб дом не поджигали, а супротивников взяли живьем.

— А то, вишь, ветер: крепость огнем возьмется, все жительство безвинных людей сгорит. Не можно это, детушки.

Вскоре казаки, осыпаемые пулями, вломились в комендантский дом и всех защитников доставили к Пугачёву. Он отдал такой приказ: майора Веловского с женой и офицера повесить, сдавшихся солдат поверстать в казаки, обрезать им косы, привести к присяге.

Забрав три пушки, порох и снаряды, войско на следующий день выступило к Нижне-Озерной крепости.

Пугачёв чувствовал себя уверенно. Войско его дерется храбро, берет форпосты и крепости, уничтожает походя вражеские отряды. Еще осталось взять три крепости, а там — знай, катись вольной дорогой к самому Оренбургу.

## **Глава 6**

### **Нижне-Озерная и Татищева. Дух крепостного гарнизона. Ссора**

Губернатор Рейнсдорп получил новое известие: прискакавший из Илецка гонец доложил, что городок занят мятежниками, и население встретило самозванца с хлебом-солью.

Беспечный, бестолковый губернатор, вместо того чтоб это известие проверить, разослал по городу приглашения на новый бал по случаю коронации императрицы.

Среди бала пришел рапорт коменданта Татищевой крепости, полковника Елагина, о занятии Пугачёвым Илецкого городка и казни атамана Портнова.

Казалось бы, известие ошеломляющее. Но, чтоб не омрачить торжества, губернатор скрыл от гостей грозившую всем опасность. Он был совершенно уверен в силе Оренбургской крепости, в отваге защитников её и в собственной непогрешимости в делах военных.

Пугачёвцев же он считал просто-напросто шайкой разбойников, пополнявшейся изменниками-казачишками. Намерения этой обнаглевшей шайки — погулять, попить, пограбить. Впрочем, у генерала Рейнсдорпа разговор с «воровским сбродом» будет не долог, без особого труда он сотрет с лица земли всю «нечисть»!

Итак, прежде всего — спокойствие, спокойствие... Бал продолжается!

На другой день после бала явился с письмом посланец Нур-Али-хана.

Этот владетельный азиат вел хитрую игру: он хотел оставаться верным царствующей императрице и в то же время вести дружбу с новоявленным царем.

Рейнсдорпу он писал:

«Мы, на степи находящиеся люди, не знаем: сей ездящий вор ли или реченный государь сам?» Далее он предлагал губернатору, ежели в том будет нужда, собрать своих пять тысяч киргизов, идти по следам самозванца и пленить его.

Рейнсдорп на словах передал посланцу, что в помощи хана не нуждается, так как для «сокрушения злодея» достаточно и русских войск.

В тот же день, получив, в дополнение ко всем другим известиям, тревожный рапорт полковника Симонова, губернатор сделал распоряжение бригадиру барону Билову выступить с воинским отрядом при шести полевых пушках навстречу самозванцу. Билову предписывалось идти к Илецкому городку, злодейскую толпу разбить, мятежников переловить.

К вечеру 25 сентября 1773 года отряд барона Билова прибыл в Татищеву крепость, что в шестидесяти шести верстах от Оренбурга. А часа два спустя подъехал туда на бричке и сам Биллов.

Комендант крепости, старик Елагин, с

нескрываемой радостью встретил его возле крепостных ворот:

— Ну вот, батюшка Иван Карлыч, и вы пожаловали, спасибо! А утресь ко мне дочь заявилась, Лидочка. Она, ежели изволите помнить, с нонешней весны в замужестве за Харловым, комендантом Нижне-Озерной. Ну, вот он и отправил её в родительский дом: в Татищевой, мол, укрытие-то покрепче...

Ох, господи, вот до чего дожили, Иван Карлыч!.. Слыхано ли, видано ли, чтоб казаки, нарушив святую присягу, к разбойнику передались! Ну, да ничего! Мы им покажем, где раки зимуют... В бараний рог согнем... И без промедления! Как полагаете?

— По сведениям, у злодея до трех тысяч касаков и всякий сброд, — тяжело шагая рядом с Елагиным и посапывая, отозвался тучный, коротконогий барон Билов.

— Откуда там три тысячи?! А хотя бы и так. У нас ведь тринадцать пушек.

— У него, по имеющимся данным, тоже пушки есть. Но... будем уповать, что пресечем!..

— Он, батюшка Иван Карлыч, этот супостат Емелька, в Илецкой защите атамана Портнова повесить приказал... Таковы слухи в народе.

— Фсдор, фсдор! — вращая водянистыми глазами, выкрикнул Билов и потянул из кармана



трубку с кисетом.

— Нет, не вздор, — неожиданно рассердясь на легкомыслие немца, сказал полковник Елагин. — Да что вы, Иван Карлыч, все как-то в натыр идёте?..

Они шли по узкой крепостной улочке, обстроенной приземистыми, крытыми соломой глинобитными казармами, кирпичными красными складами фуража, амуниции, топлива, зарывшимися в землю и обложенными дерном пороховыми погребами. Между постройками — небольшие огороды с грядками мака, подсолнухов. Много скворешен на шестах. У колодца с журавлем — два длинных корыта, жидкая вокруг грязца и деревянные надолбы, огрызанные лошадьми.

Человек пятнадцать молодых казаков, по-особому подсвистывая — фиу, фиу, — поят коней с оживлением, что-то рассказывают, громко хохочут. Завидя командиров, смолкают и, перемигнувшись друг с другом, без особой охоты и радения, кой-как вытягиваются перед проходящим начальством. Рожи у казаков себе на уме, в прищуренных глазах их отблеск тайных мыслей. Рассеянный Билев этого всего не замечал, но благоразумный и пытливый полковник еще и до этого дня видел в поведении своих людей нечто странное, пугающее, и это сильно угнетало его.

Да взять хотя бы этих пожилых, плохо бритых солдат с обветренными, морщинистыми лицами.

Вот они сидят вдоль казарм, на завалинках. Двое, поглядывая на багряно-мутный диск заходящего солнца и сугорбясь, тянут грубыми голосами, как слепцы, заунывную стихирю; другие, вооружившись большими иголками, сощурившись, латают порты и рубахи. Иные, поставив в ногах шайки с водой, при помощи шомпола и палки неторопливо промывают стволы ружей и пищалей, а иные сидят вовсе без дела, балакают, как старухи у паперти, позевывают, закрепивая беззубые рты. Словом, держат себя солдаты так, будто кругом тишь да гладь.

Проходя, Елагин нарочито строго смотрит в их сторону. Солдаты неохотно встают, и уже нет того, чтобы — каблук в каблук, грудь вперед, руки по швам. Один даже не подумал подняться. Поелозив задом на завалинке, он спрятался за спину стоявшего перед ним и притаился.

— Кувалдин! — в полный голос окликнул старого солдата полковник. — Встать, сукин сын... Ко мне!..

Шарпая по земле ногами, старик кой-как подбежал.

— Почему не встаешь, когда перед глазами начальство! — Старик мялся, молчал. — Тебя или не тебя спрашиваю?

— Слеп я стал, ваше высокоблагородие, не дозрил вас.

— Какой же ты к чертовой матери воин, как

же ты во врага стрелять будешь? Раз слеп стал, в могилу, значит, пора...

— Пора, пора, это так, — тряхнул головой Кувалдин и вызывающе, с оттенком угрозы добавил:

— Вот ужo многие в нее, в могилушку-то, уляжyтся.

А будя божья воля, тожно и мне не сдобровать.

— Пшел прочь, дура! — крикнул на старика Елагин.

А вот и комендантский, крепко выстроенный одноэтажный каменный дом.

Высокое крыльцо с перилами, палисадник, рябина, полосатая будка, часовой с ружьем, полосатый столб, на столбе вестовой, в полпуда, колокол.

— Покорно прошу, многочтимый Иван Карлыч, запросто поужинать у меня да и переночевать.

Встретила их печальная Лидия. Ей двадцать третий год, она не высока, с тонкой талией. Серые под густыми бровями глаза на миловидном загорелом лице выразительны и грустны.

Барон Биллов тупо взглянул на нее, расшаркался и поцеловал ей руку.

В клетке под потолком высвистывала канарейка, ей откликались из соседней горницы

сразу два щегла. Денщик принял от Билова дорожный архалук и трость.

## 2

Всем елагинским хозяйством заправляла комендантша. Толстеньякая, кругленькая, со здоровым румянцем на щеках, она по своим довольно обширным полям и пашням разъезжала верхом на калмыцкой лошадке.

Время позднее, осеннее, а у нее еще овсы не скошены, вконец пересохли, зерно течет. Виной же тому её супруг — полковник Елагин. Как ни ссорилась с ним, как ни корила его: «Службист неразумный, в генералы, что ли, тянешься?» — он все же на своем поставил и заместо полутора ста солдат, нужных для второго сенокоса и прочих полевых работ, отпустил за последний месяц всего сорок человек, да и те — калека на калекке: «Ты, мать, в мои дела не суйся. Орда по степи грабежами промышляет, киргиз-кайсаки, не могу же я крепость обнажить». Вот чем прикрывается, непутевый!

Но сегодня у нее на работе, слава богу, все сто сорок человек.

— Давай, давай, старички!.. Давай, давай, солдатики! — покрикивая, скачет она на своем коньке по жнивью, подобно воеводе.

Она в длинных мужских сапогах, в короткой

юбке, из-под которой выглядывают полосатые шаровары. На голове — солдатская войлочная шляпа.

Старые солдаты вяжут снопы, с трудом разгибают затекшие спины, потягиваются, брюзжат:

— Приморились, матушка. С утренней зари бьемся, а уж скоро солнцу закатиться. Домой пора.

— Ладно, ладно... Выспитесь еще...

— Да ведь через силу-то и конь не потянет. Не молоденькие!

— А ты, капрал, знай подгоняй их, чего слюни-то распустил? А то у меня живо за решетку угодишь! Ну, ну, дружней, — и комендантша скачет к двум молодым казакам, сгребаящим сено в копны.

Старики, не слушая окриков капрала, бросают работу, сходятся в кружок, садятся на снопы, закуривают носогрейки.

Глядя на эту странную группу утомленных людей, трудно было признать в них стойких воинов, геройством которых немало восхищался в свое время прусский король Фридрих. Согбенные, с погасшими глазами на морщинистых медно-бурых лицах, с пучками кое-как заправленных волос на затылке, они напоминали собой скорее сельских пономарей, чем боевых солдат.

— Вот, братцы, какова наша служба

царская... — ворчат старики, разминая сухими кулаками затекшие поясицы. — Не её величеству служим, а комендантше...

— У нас ли одних так?! У всех ахвицеров такая же повадка — гонять солдат на работы на свои... Планида наша такая, — откликается соседям сухонький, низкорослый старичонка и широко раскрывает в позевоте беззубый рот: зубы съело время, повыбило начальство.

Действительно, не только у полковника Елагина, но и по всему Яику, вместе с Яицким городком, вместе с крепостями и столицей края — Оренбургом, атаманы, старшины, офицеры и даже сам генерал Рейнсдорп, обзаведясь большими хуторами, в той или иной мере занимались сельским хозяйством и в качестве рабочей силы употребляли солдат, казаков, беглых, изловленных киргизов, калмыков. Иные же, как атаман Мартемьян Бородин, за гроши скупали рабов из бедноты малых народностей и закабалили их себе, как вечных данников.

### 3

Крепость Нижне-Озерная, куда подступал Пугачёв, стояла на крутом утесистом берегу Яика и была обнесена бревенчатым частоколом, на стенах и возле ворот — несколько пушек. Крепостной

гарнизон — это горсть престарелых солдат, не более того — драгун да полсотни переселившихся сюда оренбургских казаков.

Комендант крепости, майор Харлов, отправив свою жену в Татищеву, к отцу ее, коменданту Елагину, ждал от тестя подкрепление.

Елагин с дочерью Лидией чуть не на коленях умоляли барона Билова скорей идти с войском выручать Харлова и крепость. Но Биллов отказался: пусть Харлов спасает себя, как знает. Впрочем, он вышел с отрядом в поле, прошел верст пятнадцать и вернулся: не хватило отважного духа!

Таким образом, Нижне-Озерная крепость обречена была на самозащиту.

Харлов все еще ждал какой-то, откуда ни на есть, помощи, как чуда. Но вместо помощи все оренбургские казаки, как только стало смеркаться, вскочили на коней и умчались в сторону войск Пугачёва.

Харлов пришел в отчаянье, однако решил защищаться до конца. С помощью денщика он перевез свои пожитки в дом своего кума Киселева, расставил возле пушек крепостной гарнизон с четырьмя офицерами и, заметив уныние старых солдат, сказал им:

— Смерти ли боитесь? Не бойтесь смерти, бойтесь измены государыне.

Солдаты вздыхали, смотрели в землю, что-то

бормотали невнятное, иные осеняли себя крестом. Чтоб подбодрить их, майор Харлов поднес им водки и сам выпил. Когда стемнело, с раската, где стояли пушки, ясно было видно, как верстах в двух от крепости засветились костры Пугачёвцев.

— А ну, зажигай фитиля! — скомандовал по линии Харлов.

Старые бомбардиры с неохотой разобрали по рукам длинные палки с намотанной на концы паклей, стали макать паклю в лагунки с дегтем, высекать огонь и раздувать трут.

Харлов сам навел на костры жерла пушек и подал команду:

— Поджигай запалы!

Со скалы, где крепость, дыхнув длинным огнем, ударило в степь несколько пушечных выстрелов.

— Ваше благородие, да нешто ядро достанет ворота? Только зря заряды сничтожаем, — раздраженно сказал криворотый бомбардир. — Эхма-а, — вздохнул он и, казалось, хотел добавить: «Сдаваться бы надо, ваше благородие, вот что!»

— А мы без ядер палить будем, для остратки! — как бы оправдываясь, проговорил Харлов и закричал:

— Подтаскивай, ребята, картузы с порохом!

Дуй вхолостую! И врагу остратка, и нам веселей. А как дойдут разбойники, мы их по



заправде пугнем...

От костра, где стояли в козлах ружья со штыками, раздались сердитые выкрики:

— Разбойники ли, нет ли, а только одно осталось нам: сдаваться!

— Нам супротив его силы не выдюжить...

— Казачишки не зря спокинули крепость-то.

— Людство малое у нас, а в петле помирать кому охота!

Харлов дрогнул, но не подал вида, что слышал эти возмущившие его голоса. Он опять скомандовал:

— Запалы! А ну, веселей!

Пушки вновь ахнули в темную глухую степь огнем и дымом. Мрачный Харлов отошел в край раската и, запрокинув голову, потянул из фляги хмель.

«Да, на таких надежды нет... Видно, отвоевался ты на этом свете, Харлов!

Прощай, Лидочка, голубка моя, прощай», — шепчет он и с тоскою вглядывается в сторону Татищевой, куда скрылась любимая жена, с которой ему довелось прожить всего пять месяцев.

Снова ревнули в темную ночь, одна за другой, четыре пушки. Комендант допил водку и велел денщику наполнить флягу до краев. В голове у него зашумело. Он приблизился к группе солдат и, напрягая волю, крикливо произнес:

— Чего приуныли, ребята? Давай-ка песню!

— Не до песен, ваше благородие, — глухо подал голос старый криворотый бомбардир. — Надо бы помолиться да к смерти приготовиться... вот чего! — в мутных глазах старика стояли слезы.

«Кончено, все кончено», — решил про себя Харлов и отошел прочь.

Небо на востоке стало розоветь, на западе сереть, занималось утро.

Вскоре лагерь Пугачёва пришел в движение.

Захмелевший от выпитой водки и от бессонной ночи, Харлов стоял с молодым офицером Мишиным на раскате. Он махнул барабанщику рукой. Как-то ненужно, сиротливо, зазвучал барабан: тра-та, тра-та-та... Дремавшие солдаты встрепенулись.

— К пушкам! — скомандовал Харлов.

— К пушкам! — закричали офицеры.

Солдаты с подавленной бранью вскарабкались на вал.

По бурому полю на крепость надвигалась конная толпа. Впереди, на статном коне — сам Пугачёв, за ним — свита, знамена, лес поднятых пик.

Крепость молчала. Сдается, что ли? Но вот внезапно пушки зевнули, засвистела картечь, заскакали ядра.

— Ах, изменники! — сдвинув густые брови, ахнул Пугачёв и подстегнул коня.

Отряд пошел к крепости рысью.

— Ваше царское величество, — подскакал к Пугачёву встревоженный Яков Почиталин. — Поопаситесь, батюшка... Отъехали бы вы к сторонке. Вишь, ядра...

— Старый ты человек, а говоришь чистую дурь, — спокойно ответил Пугачёв:

— Разве пушки на царей льют?!

— ...Запалы! Запалы! — не сводя с надвигавшегося врага глаз, командовал Харлов.

Пушки гремели не переставая. И вдруг, словно сговорившись, смолкли.

Пугачёвцы приближались. С их стороны уже слышались ружейные залпы.

— Давай! Чего ж вы!.. — заорал Харлов и оглянулся. У пушек и за валом почти никого не было. Лишь, прячась за частоколом, маячили тенями десятка полтора стариков, да на валу суетились четыре офицера, пытаясь надсадистыми криками: «Назад, черти! Назад!» — вернуть разбегающихся кто куда солдат.

Харлов теперь сам, в одиночку, перебегал от пушки к пушке и зажигал запалы. Пушки грохали вслепую. Офицеры снова с поспешностью заряжали их, обезумевший Харлов поджигал запалы, сам себе командовал: «Пли! Пли!..»

Но уже с треском рушились ворота, Пугачёвская конница вскочила в крепость. Харлов

выхватил саблю.

— Ура! Ура!.. — закричал он дико, пронзительно и бросился с вала навстречу коннице.

Ударом пики ему выбили глаз, на щеку брызнула кровь, глазное яблоко моталось на толстом нерве, как маятник. Исступленный Харлов продолжал помахивать саблей направо-налево. В него вонзилось сразу несколько пик.

Изрублены, исколоты были все офицеры и почти все солдаты. А те, кому удалось бежать, снова вернулись и, пав на колени, вопили дико:

— Признаем государя, отца своего!..

Казачьи-оренбуржцы, что вчера ускакали из крепости в стан Пугачёва, рассыпались — одни по домам, другие — по складам, третьи бросились в дом харловского кума Киселева.

— Эй, показывай, где харловское добро?

Им указали. Они принялись вытаскивать пожитки на улицу. Два казака — трезвый и успевший здесь, в крепости, вдрызг напиться — вцепились в большой расписной сундук. Дочь Киселева кинулась им в ноги, заплакала:

— Ой, родные, государи мои!.. Я ж невеста... Это ж мой сундук, с приданым!

Казак, который потрезвее, отступился от сундука, сказал пьяному:

— Пойдем. Грех забижать Анютку!

Но пьяный ударил девку сапогом в лицо, она

облилась кровью, завывала.

Вбежали еще пятеро.

— Подхватывай! — крикнул им пьяный.

Сундук выволокли. Девка мчалась по улице.

— Где надежда-государь? Где?! — кричала она, не помня себя.

Пугачёв стоял на раскате, осматривал с Чумаковым пушки. Девка повалилась в ноги царю и, целуя сапоги его, запричитала.

— Встань, милая, — приказал Пугачёв и, подхватив девушку под мышки, поднял ее, как перышко. — Кто смел обидеть тебя?!

Пораженная неожиданной милостью, запинаясь и хныча, она рассказала о своем горе. Пальцы рук Пугачёва сжались, разжались. Через ноздри задышав, он крикнул Давилину:

— Немедля найтить!

И вот молодой пьяный казак, с глазами тупыми и наглыми, сдернув шапку, остановился перед царем. А кругом — сбежавшийся народ: казаки, солдаты, жители.

— Он? — спросил государь. — Этот?

— Этот самый, — ответила девка. — Кузька-похабник, он здесь-ка в казаках служит... Эх ты, бесстыжай!..

— Детушки! — крикнул Пугачёв, подымаясь на лафет пушки. — С пьянства да с грабительства немислимо нам дело свое зачинать! Обижать

беззащитных жонок, да сирот, да стариков недужных по нраву ли вам? Вот девушку избидел паскудник... Да что она, княгиня, что ли, какая, альбо барыня?! А вторым разом — он, безумный, пьян нажрался. Наше же дело военное, наше дело государственное... А посему... да исполнится царское повеление мое...

Давилин! Оного Кузьку вздернуть на крепостных воротах, пусть все зрят, чего достоин!

— Помилуй, помилуй... — вопил пьяный казак, упав перед Пугачёвым на колени.

— Вора миловать — доброго губить, — крикнул Пугачёв.

#### 4

Татищева крепость переживала крайнюю тревогу: было получено известие о разгроме Нижне-Озерной и гибели майора Харлова.

Лидия Федоровна упала в обморок, комендантша бросилась на колени перед образом, дородный комендант Елагин, застонав и побагровев, рухнул в кресло. Но вслед он пришел в себя... Не время отдаваться отчаянию, надо действовать. На горах, в каких-нибудь трех верстах от крепости, показалась толпища Пугачёвцев.

Он жадно выпивает кружку холодного квасу и спешит в канцелярию. Там бригадир барон Биллов.

— Ну что ж, — овладевая собой, говорит Елагин и вопросительно смотрит в глаза неподвижно сидящего за столом тучного, с блеклыми глазами, бригадира. — У нас с вами, Иван Карлыч, около тысячи человек воинской силы, да пятнадцать пушек, да крепостные стены, хоть и деревянные, а прочности доброй. Авось устоим? Как вы чаете?

— Устоять должны, — выдавил сквозь зубы барон и, округлив толстые губы, пыхнул табачным дымом.

— Я бы просил вас не медля выслать в поле изрядный секурс, чтоб дать врагу сражение.

— И не подумаю, — более твердо сказал Биллов, выхватив изо рта трубку и взмахнув ею.

Елагин поднял брови.

— Это почему, позвольте вас спросить? По какой причине вы изволили молвить «не подумаю»?

— Как, как почему?.. — и Биллов, пристукивая в пол длинной трубкой, раздельно сказал:

— Перво, я старше вас чином и не находил бы столь нужным давать вам ответа. Два — я только-только вернулся из похода, быв на позиции восемнадцать верст от вашей крепость.

— Ради чего же порешили вы вернуться, не дав майору Харлову помощи?

— Ради того, что там, в Нижне-Озерной,

пальба пушек... Весь мой штаб офицеров советовал вернуться, так как...

— Так как вы трус! — выпалил, снова весь побагровев, Елагин.

— Как вы смейт?! Я прикажу вас арестовать!.. — и, замахнувшись длинной, в два аршина, трубкой, барон кинулся на Елагина.

— Не приближайтесь, не приближайтесь! Зарублю! — и Елагин схватился за шашку.

В эту минуту в прихожей скрипнула дверь, послышалось покашливание, в канцелярию явились к утреннему своему часу писаря.

Первым опамятовался полковник Елагин. С волнением в голосе он сказал Билову:

— Господин бригадир! Бросим пререкания. В сей грозный час они не к лицу нам и не ко времени...

— Господин полковник, извиняйт меня... Нервы, нервы! Не сплю ночей.

— У меня тоже... тоже не сладко на сердце, — примиряюще проговорил Елагин. — В животе и смерти бог волен, как говорится... Одначе мнится мне, что всех нас ждет неминуемая гибель.

— Может, вас ждет гибель, меня не ждет гибель, — пробубнил с досадою барон и, показав Елагину мясистую спину, направился вперевалку к выходу.

Елагин резко встряхнул звонком. Вбежал



дежурный.

— Капитана Березкина!

Явился офицер Березкин — щуплый, облезлый, безбровый, с тупо вытаращенными глазами человек. Елагин приказал ему взять отряд из пехотинцев и казаков, пушку и выйти из крепости, чтобы разведать силы мятежников.

Вскоре заскрипели на всю степь давно не мазанные крепостные ворота, отряд вышел в поле. За действиями разведки полковник Елагин наблюдал с вышки, сооруженной на крепостном валу. Барон Биллов с сотником Падуровым стояли возле вышки.

Тимофей Иванович Падуров, статный тридцатипятилетний красавец с пышными темными усами и чубом, прибыл во главе казачьего отряда из Оренбурга вместе с Билловым. В день своего приезда, проходя мимо дома коменданта, он увидел стоящую на крыльце красивую молодую женщину: «Кто такая, неужели жена этого старого верблюда Елагина?» Он снял шапку, тряхнул чубом, со всей учтивостью поклонился ей и, не останавливаясь, прошел в канцелярию.

Узнав, что это супруга майора Харлова, он стал изыскивать способы поближе познакомиться с ней. И вот сегодня утром новое ошеломляющее известие: она — вдова. «Черт побери, а не грех бы и приволокнуться за красоткой», — неожиданно

подумалось ему. Но он тотчас же себя пресек: «Омерзительно и глупо. Ведь такое горе у нее стряслось, а я женат и сына имею взрослого...

К черту!.. Однако, что с нею станется, когда будет взята крепость? Бедная женщина...»

Отряд офицера Березкина, казавшийся вблизи очень внушительным, отдаляясь от стен крепости, постепенно превращался в малую толпишку: степные пространства съедали его. Не успели люди пройти и версты, как с ближних гор лавой ринулись на них всадники.

— Погибли наши! — сказал Падуров, и глаза его заблестели.

Билов облизнулся, зашлепал губами и не успел ответить Падурову, как уже все было кончено: офицер Березкин, поддетый на пику, рухнул с коня, пехота с казаками частью порублена, частью захвачена в плен, и лишь солдат Колесников с тремя товарищами, нашпоривая лошадей, успели умчаться пушку в крепость.

— Ах, шорт их возьми, ловко бьются! — прищелкивая языком и сопя, сказал Билов спустившемуся с вышки Елагину. Билов успел хорошо выпить и сытно закусить.

## Глава 7

**Комендант Елагин. «Детушки! На штурм!  
На слом!». «Открой мне очи...»**

Крепость пришла в смятение. Всех солдат, молодых и старых, выгнали из казарм, поставили под ружье вдоль крепостного вала, канониры с бомбардирами разместились на деревянных раскатах возле тринадцати медных и чугунных пушек. Тридцать стариков, сказавшись больными, залезли спасаться в казармах под нары, но свирепые капралы обнаружили их и погнали на фронт палками. В обывательских домах — немолчный плач женщин, перебранка: всех мужчин, способных носить оружие, приказано сгонять на защиту крепости.

Всюду ропот, недовольство, слезы.

Слезы, уныние и в дому коменданта. Лидия Федоровна в траурном черном платье сидит в обнимку с матерью в спальне. Обе безмолвно плачут. Как ни доказывал им комендант Елагин, что крепость безопасна, у них неистребимое предчувствие страшных бедствий.

— Маменька, сестрица, не бойтесь, — вбежал шустрый семилетний Коля.

За его поясом — деревянный кинжал, в руке — копьё, конец которого обтянут свинцовой китайской бумагой из-под чая. — Бригадир Билов

приказал всем своим казакам выйти из крепости да рассыпаться по степи. Сотник Падуров уж повел казаков. Я тоже побегу, догоню да рассыплюсь... — и мальчик воинственно потряс копьём. — Маменька, дозвоьте!

— Только тебя там не хватало, — сказала мать, моргая красными глазами. — Поддай-ка нашатырь в бутылочке.

Подавая нашатырь, черноглазый Коля говорил взхлеб.

— Не плачьте, маменька. У нас еще тысяча... У нас одних казаков при Падурове шесть сотен. А Падуров... молодчина! Он мне чего-то подарил...

Лидка, пойдем покажу.

— Это что еще за Лидка! — оборвала его мать.

— Он мне леденчик подарил... Видишь, Лидуха? И еще чегой-то. Пойдем, — и он подмигнул сестре.

Мальчик чувствовал себя взрослым и, подражая отцу, старался, как умел, подбодрить женщин, но его маленькое сердце все же тревожно билось и страдало.

В соседней комнате слышались грузные шаги коменданта.

— Мать, выйди-ка сюда...

Крепкая, приземистая комендантша сорвалась с места и, звеня висевшими у нее за поясом

ключами, проворно выкатилась за дверь.

— Лидка, на... — и мальчик, косясь на дверь, сунул сестре записку. — От него это...

Лидия развернула вчетверо сложенную четко написанную бумажку и прежде всего отыскала подпись: «Тимофей Падуров». Сердце её болезненно сжалось, густые брови в изумлении приподнялись. «Несравненная, бесценная Лидия Федоровна. Я знаю, что вас постигло неутешное горе. Я ласкаю себя мыслью помочь вам, но путей к тому не ведаю...»

Её рука с недочитанным письмом упала на колени, кончики побледневших губ обвисли, веки задрожали, голова поникла.

— Чего, чего, чего он пишет-то? — подметив волнение сестры, зачастил смутившийся Коля.

Но вот в спальню мрачной тенью, шатаясь, вошла комендантша. Закрыв пригоршнями мокрое от слез лицо и шатаясь, она завывала:

— Кормилец-то наш, желанный-то наш, отец-то наш...

— Маменька! — обомлев, вскочила Лидия. — Маменька, что стряслось?

— Чистое белье надел... К смерти приготовился...

Женщины бросились друг дружке на шею, громко зарыдали.

— Да ну вас совсем, — часто замигав,

жалобно сказал мальчик, острые плечи его быстро поднялись и опустились. — Бабы какие... Воют и воют целый день... — Он укоризненно покосился на женщин, но глаза его вдруг залились слезами. Он бросил копье, сорвавшимся цыплячьим голосом закричал:

— Только и плачут, только и плачут!.. — и, кривя рот, всхлипывая, побежал к выходу.

— Стой, Николенька, — поймал его вошедший в спальню отец.

Полковник был в новом мундире, при всех орденах. Седые волосы всклокочены, мужественное лицо бледно, губы подергивались, меж бровями вертикальная врубилась складка.

— Ну вот... Только вы ничего не опасайтесь... Ну вот... страшного ничего. Крепость устоит да еще и побьет супостатов-то. А все ж таки... на всякий случай... По закону христианскому благословить хочу. Ну, Лидочка...

Дочь, вся сотрясаясь, опустилась на колени, обняла ноги отца, прижалась пылавшей щекой к его новым, начищенным ботфортам со шпорами.

Мальчик стоял тут же. Он старался осмыслить происходящее. Но слезы застилали свет. Он видел, как лицо сестры исказилось мукою, как у отца дрожат колени и подергивается правая щека. Мальчик шевельнул плечами и вытер отсыревший нос рукавом рубахи.

Трижды перекрестив и поцеловав дочь, старик Елагин обратился к жене.

— Прощай, старушка, — выдохнул он и громко зафыркал носом. — Да ты не страшись. Бог милосерд. Все обойдется, как нельзя лучше. Тридцать лет прожили с тобой. Прощай, старенькая... — В широкой груди его захрипело.

— Прощай, Федор Павлыч, прости меня.

— Прощай, касатка моя!

— Прощай, Федор Павлыч, батюшка! —

Какими-то отрешенными глазами она с благоговением смотрела в его лицо, как на икону. Он обнял ее. У старухи дрожал подбородок, дрожали ноги, дрожала душа.

Полковник подозвал сына. Мальчик быстро справился с собой, перестал плакать и, вплотную придвинувшись к отцу, стал рассматривать изящные, с золотом и эмалью, кресты на груди отца.

— Ну вот, Николай... Ты мужчина. Не куксись.

— Я ничего... я... я...

— Учись, слушайся, уважай старших. Завсегда будь мужественным, храбрым. А как подрастешь, имей попечение о сестре, о матери. — У старого полковника кривился рот, трепетало правое веко. — И... завсегда будь верен царю, отечеству... как и отец твой... Прощай.



Пять сотен оренбургских казаков приказанием Билова рассыпались по степи. Сбоку, то бросаясь вперед, то возвращаясь, гарцевал сотник Падуров.

Этим маневром Биллов рассчитывал задать мятежникам страх: пусть видят злодеи, сколь велика сила защитников.

Стал гулять ветерок, пыль понеслась, хвосты лошадей задирались в сторону крепости. На вал, к тому месту, где было начальство, взобрался козлиной тропинкой священник в эпитрахили, с крестом и евангелием. Он прочел краткую молитву, окропил пушки и воинов, осенил крестом Билова с Елагиным, офицеров и всех защитников. Коля таскал за ним кадило и медный кувшин со святой водой.

— Отец Симеон, осените святым крестом казаков в поле, — громко сказал Елагин. — Глядите, на них набегают мятежники.

Действительно, подскакав к отряду Падурова сажен на тридцать, Пугачёвские всадники дали по казакам ружейный залп. Два казака упали, задетая пулей лошадь, взягивая задом, понеслась по степи и брякнулась на землю.

Отец Симеон высоко воздел руки с крестом и, троекратно осеняя поле брани, во всю мочь запел:



*Взбранной воеводе —  
победительная!*

*Яко имущая державу  
непобедимую...*

*От всяких нас бед  
освободи, да зовем ти...*

Наблюдавший в подзорную трубу Билов вдруг заорал не своим голосом:

— Ах он... так его! Измена!.. О бог мой...  
Измена... Стреляйте в него, стреляйте!.. Пушка!  
Пушка!..

— Измена! — закричал и Елагин.

«Измена, братцы, измена...» — прошумело по всему гарнизону.

— Измена! — крикнул не то испуганно, не то восторженно и семилетний Коля, улепетывая домой с известием, которым он собирался удивить мать и сестру. — Измена, измена! Падуров злодеям передался. И все казаки. Измена! — без передыху кричал он, бросив медный кувшин и крутя кадиллом, как пращой.

...Падуров выхватил белый платок, замахал нападающим: «Стой! Стой!»

Затем он скомандовал казакам построиться по сотням, и всем гамузом с криком «ура», со склоненными пиками оренбуржцы двинулись в

сторону Пугачёвцев.

— Урра! Урра!.. — охрипшими от радости глотками встречали новых друзей Пугачёвские конники.

Со свитой подъезжал Пугачёв. Падуров соскочил с коня, обнажил голову.

— Рапортую, государь! — молодецки гаркнул он и, всматриваясь в чернобородое лицо Пугачёва, мысленно ухмыльнулся: «Вот так Петр Федорыч...

Хоть бы бороду обрил». — Рапортую: пять сотен оренбургских казаков бьют челом вашему величеству, просят принять их под высокую царскую руку.

— Благодарствую, — проговорил Пугачёв, окидывая орлиным взглядом бравую фигуру Падурова. — Кто таков?

— Сотник Тимофей Иванов Падуров.

— Так будь же моим полковником! Господа оренбургские казаки, вот вам полковник ваш!

— Урра! — заорали только что передававшиеся казаки, швыряя вверх шапки.

Тут с крепости грянули, одна за другой, одиннадцать пушек.

— Ого! — сказал Пугачёв и, прищулив правый глаз, свирепо покосился на крепость.

С присоединением казаков Падурова силы Пугачёва значительно окрепли.

Емельян Иваныч решился на штурм крепости. Часть войска под начальством старика Андрея Витошнова он направил на Татищеву, с низовой стороны реки Яика, а сам двинулся сверху по течению.

Однако Билов и Елагин удачной пальбой из пушек и ружей успели отбить обе атаки.

— Стой, детушки, — сказал Пугачёв, когда обе его части сошлись вместе. — Не гоже нам зря ума людей терять. А умыслил я тактику. Нужно ветер запрячь, чтобы помогал нам, детушки. Ишь, кожедер, завихаривает...

Падая с гор и все усиливаясь, ветер дул прямо на крепость.

— С нами бог, — весело шуря то правый, то левый глаз, проговорил Пугачёв и приказал поджечь наметанные возле крепостных стен большие стога сена.

Взнялось, закрутилось, пыхнуло в разных местах пламя. Ближняя к крепости степь сразу оделась в огромные шапки огня.

— Ги! Ги! Ги! — радуясь огню, как малые ребята, гикали, приплясывали татары, казаки, калмыки. — Нишаво, нишаво, бульно ладно...

Озорной ветрище, крутясь и воя, налетал на шапки, с шумом ошипывал с них косматые золотые

перья. Шапки дрожали, качались, таяли, никли к земле.

В густых клубах розоватого, черного, желтого дыма, отрываясь от шапок, летели на крепость жар-птицы. С вихрем ветра, дыма и пламени, распушив золотые крылья и хвост, жар-птицы садились на соломенные крыши сараев, амбаров, хибарок, стоявших впритык к крепостному тыну. И в одночасье деревянные стены крепости были охвачены огнем.

— Вот так бачка-осударь! — восторженно прищелкивали языками татары. — Бульно хитро... Якши, якши!..

В крепостной церкви забили сполох. На валу рассыпалась мерная дробь барабана. Гарнизонные солдаты, защитники крепости, таращили на пожар глаза, в смятенье бормотали:

— Глянь, глянь, огонь за стены перелетывает. Пропали мы и все наше жительство!

Иссиня-желтое пламя коварно и ласково гладило, щупало темные бревна крепостных укреплений. А налетевший порывистый ветер мигом раздувал вялое пламя в прожорливую бурную силу. Стены до самого верха, до батарей запылали. Загорелись крепостные ворота.

— Горим, горим! — завопили впавшие в отчаянье солдаты. А те из семейных солдат и вольных людей, которые жили оседло в хибарках и

лачугах, уже больше не слушая приказаний начальников, побежали спасать свое добро и семейства.

Но многие солдаты, кое-кто из бомбардиров, живших в казармах, остались на месте. Зарядив пистолеты, пищали и ружья, они делали вид, что готовы к отпору врага.

Елагин и особенно Билов пришли в крайнее замешательство, не зная, что предпринять. Билов дрожал, оплывшее лицо его стало иссиня-белым.

— Пали! Пали! — кричал охрипший Елагин.

Но палить было некуда: густым дымом заволокло все пространство, а снизу, цепляясь багровыми когтями, ползло по стене вверх пламя, и земля под ногами тлела. Воздух накаливался. Было нестерпимо жарко. Солдаты срывали с себя сермяжные куртки, кутали в них головы, пятились от огня.

Пушки что было силы гремели впустую сквозь дым и огонь. Внизу, под самой стеной у горевших ворот, полковник Елагин внезапно услышал зычный выкрик:

— Де-е-е-тушки!! На штурм!.. На слом!..

Это, привстав на стременах, подавал команду сам Пугачёв, и в его голосе было столько силы и власти, что, помимо воли, сознание полковника пронизала мысль: уж не есть ли это в самом деле российский престолодержатель?!

Ломая деревянные рогатки, заслоны, надолбы, Пугачёвцы вслед за вождем своим прокладывали дорогу к воротам.

— На слом! На слом!.. — гремели освирепевшие голоса.

В крепостном поселке шум, гам. Бабы, солдаты, ребята, переругиваясь и гайкая, волокут из горящих жилищ всякий скарб, выгоняют со дворов скот, бегут с ведрами за водой. Дурным голосом мычат коровы, заполошно визжат свиньи, скачут, как угорелые, козлы. А набатный колокол все гулче, все отчаянней. Но вот загорелась церковь, и колокол смолк. Пожар разгулялся среди крепостных построек не на шутку.

— Господин полковник! — подскакивал к задыхавшемуся в дыму Елагину то один, то другой офицер. — На казармах воспламенились крыши, церковь горит, канцелярия горит... Вашему дому угрожает огонь. Что делать?

— Стрелять, вот что! Соблюдать присягу!..

На лысую голову, на жирный, в складках, загривок Билова старый солдат льет из ведра холодную воду. Билов отфыркивается, бормочет: «Боже мой, боже мой, подобный крепость потерять... Я никогда не питал надежды на этот фронт Падуров, но... крепость!» И закричал истошно:

— Елагин! Где полковник Елагин?

А полковник в это время подбежал с горстью верных солдат к самому краю вала, выхватил пистолет и страшным, лающим голосом командовал:

— Залп! Залп!

Солдаты, три офицера и Елагин стреляли вниз, в дым, прицеливаясь по буйным крикам осаждающих.

— Забей пули! Сыпь на полку порох! Залп! Залп!.. — кашля и плача от едкого дыма, командует Елагин.

Вот снизу, из клубов густого дыма, ударил ответно дружный залп, два солдата упали, остальные, оробев, скатились с вала.

По тесовой, поросшей лишайником крыше каменного дома Елагина бесстрашно сновала приземистая комендантша. В мужских бахилах, в короткой старой юбчонке, в овчинной кацавейке и порыжевшей солдатской шляпе, она со старым денщиком торопливо устилает верблюжьими кошмами обращенный к пожарищу скат крыши. В воздухе жарко, как в печке.

— Давай воды! Давай воды! — подбежав к торчащей над крышей пожарной лестнице, сколоченной из жердей, звонко кричит комендантша, обливаясь потом.

Кухарка, два солдата и чернобородый конюх таскают из колодца воду, ведро за ведром подают

наверх. Комендантша все позабыла — что с мужем, что с сыном, что с дочерью, с внезапно явившейся силой она хватает ведра и, позвякивая связкой ключей у пояса, опрокидывает воду на крышу и снова швыряет ведра вниз: «Давай, давай!..»

...Кругом треск, грохот, пламя, дымище. Вдруг гулко ударила пушка, а следом — крики, стоны, страшная брань. Это полковник Елагин, подтащив с солдатами пушку вплотную к горящим воротам, поджег запал, пушка взревела и ахнула картечью в толпу ринувшихся на штурм Пугачёвцев.

В Елагине нет страха, он больше не помнит себя. Туман или дым вокруг него, пожар или молнии, рев пушек или громовые раскаты, — все спуталось в его сознании. Он был в состоянии мрачного бешенства.

— Пли! Пли! — иступленно хрипел он, вперяя обезумевшие глаза в то ужасное и неодолимое, что было смертью. Мстительно вскинув кулаки, полковник скрипел зубами и, ничего не поняв, не успев даже почувствовать боли, рухнул на землю. Пронзенное массивное тело его было тотчас же подмято мчавшейся с диким ревом конницей.

Началась резня. Всюду сверкают ножи, кинжалы, острия топоров. «Режь, бей, коли!» Страшные чернобородые, рыжебородые, усатые,



бритые лица. Зубы стиснуты или злобно оскалены. В накаленных яростью глазах забвенье всего, чем перед тем жили, радовались и печаловались люди. Дым, огонь, лязг сабель, жалобное ржанье раненых коней, стоны падающих солдат... Штык порет сердце, выстрелы, выстрелы, визгливые выкрики, протяжные ругань, проклятия.

Солдаты побросали оружие — их сотни три — вскинули руки, кричали:

«Сдаемся, сдаемся!»

...Комендантша, забыв семью и себя, стреляла через окно чердака по бегущим врагам. Возле нее три ружья и две пары пистолетов. Выстрелы метки, вот двое свалились — казак и татарин, за ними еще и еще.

Скачет Падуров, что-то кричит. Комендантша, хищно прищурясь, взяла его на прицел... Она стреляла без промаха. Но тут кто-то схватил её за волосы и поволок по узкой лестнице вниз: «А-а, ведьма чертячья!»

...И снова пронзительный, на всю крепость, голос Пугачёва:

— Де-е-тушки! Воинство мое! Пожар туши! Кое водой заливай, кое землей забрасывай... спасай погреба с порохом. Государеву казну спасай! Рви огню голову!

Из конца в конец сотни глоток подхватывают:  
— Заливай! Государь приказывает!..

Дружной работой огонь сбили быстро. Ветер затих, воздух стал неподвижен. Дым помаленьку рассеялся.

Больше трехсот плененных солдат гнали Пугачёвцы в свой лагерь, за полверсты от крепости. Пленным отрезали косы, привели к присяге, переименовали в «государевы казаки».

На крепостной площади, возле церкви, качались на виселице бригадир Билов и комендантша Елагина.

Вскоре из крепости прибыл в свой стан Пугачёв. Ему представили толпу пленных офицеров, приказчиков соляных складов, казначея, мелких торгашей.

Среди пленных была и Лидия Федоровна Харлова с семилетним Колей. Их нашли на чердаке у просвирни.

Сотник Падуров не имел возможности даже перемолвиться с Харловой.

Бледный, взволнованный, он стоял позади государя, сидевшего на табурете под деревом.

Пугачёв приказал всех офицеров и одного из приказчиков повесить. Иван Бурнов, набычась, подошел к обреченным и погнал их в сторонку. Никто из смертников о помиловании не просил.

Пугачёв подал знак. К нему подвели Харлову и оцетинившегося, как зверенок, Колю, за поясом у него — деревянный кинжал.

Лидия Харлова в черном платье с приставшей к нему сенной трухой. Она остановилась в пяти шагах от Пугачёва и, с омерзением взглянув на него, низко опустила голову. Левая щека её запачкана сажей, платье местами разорвано, обнажилось круглое белое плечо.

— Ну, здравствуй, красавица, — сказал Пугачёв, — кто ты, откуда и как попала сюда?

Падуров, встав лицом к Пугачёву, с волнением сказал:

— Дозвольте, ваше величество... Это дочь коменданта Елагина со своим братом, вдова коменданта Нижне-Озерной — Харлова. Прошу милости вашего величества отдать их под мое защищение.

Харлова взбросила голову, широко распахнула на Падурова глаза.

Пугачёв сидел, чуть нагнувшись, оперев локоть о колено, и покручивал бороду.

— Негоже, полковник Падуров... — косясь то на Падурова, то на Харлову, проговорил он. — Да ты воином прибыл ко мне, али... бабьим заступником?.. Давилин! Прикажи отвести эту с мальчишкой в мою палатку, — сказал он и, обратясь к остальным пяти пленным:

— А вы будьте моим именем вольны, идите с богом по домам. На вас вины не зрю.

Из крепости утром прибыл сержант Николаев:

— Ваше величество! Деньги в сумме двух тысяч трехсот семидесяти трех рублей пересчитаны и опечатаны. Как изволите распорядиться?

— Дайте-ка нам с Падуровым коней, — приказал Пугачёв. — А ну, полковник, айда за мной в крепость казну принимать.

Подъехав к канцелярии, оба всадника соскочили с седел. Обиженный государем Падуров был хмур и зол. Пугачёв похлопал его по плечу и, подмигнув, сказал:

— Не хнычь... Крепость-то наша... Лъзя ли, нельзя ли, а пришли да взяли! Так-то-ся, полковник. — Он сказал это столь задушевым голосом и столь милостиво при этом улыбнулся, что впавший в уныние Падуров сразу повеселел.

При виде вошедшего царя все бывшие в комендантской канцелярии встали, бросили на пол дымившиеся козьи ножки, низко поклонились ему. Атаман Овчинников и полковник Творогов доложили государю, что казенные деньги пересчитаны, а на складах проверяется амуниция, фураж, харч, оружие.

— Чтоб всему списки были сготовлены, — сказал Пугачёв. — Это, Почиталин, твое дело! С тебя взыск будет. Как перепишешь, мне подашь.

Ваня Почиталин поклонился, Пугачёв велел при нем сызнова пересчитать деньги. «Денежка счет любит», — сказал он, а когда все было кончено, мешок с медью и сума с серебром и золотом опечатаны, он приказал всем удалиться, кроме Падурова.

— Запри дверь, — сказал ему Емельян Иваныч.

### 3

Канцелярия коменданта — большая горница с низким потолком.

Обшарканные задами и спинами стены грязны. На некрашеном полу окурки, плевки, мусор, несмываемые брызги чернил. На стене прокопченная большая карта России, указ Военной коллегии, чертеж пушки и гаубицы. Возле писарского стола на гвозде нитки для сшивания дел, линейка, огромные ножницы. Портрет Екатерины снят с простенка, брошен в угол, на его месте стоят со связанными крест-накрест дровками государевы знамена.

Пугачёв с Падуровым перешли в кабинет коменданта. Здесь уютнее, чище.

Пугачёв сел в комендантское кресло за широкий стол. Он ножницами остриг кончик конусообразного пера, стал чистить им под ногтями.

— Веришь ли ты в меня, Падуров? Признаешь ли правое дело мое? — неожиданно и как бы между прочим спросил он казака.

— Я присягу вам чинил, ваше величество, — негромко ответил Падуров. — Если б в дело ваше не верил, супротив бы вас шел, а не с вами, как ныне.

— Благодарствую, — проговорил Пугачёв глухо. — А коли веришь, помоги, брат. Ты, вижу, человек здешний, бывалый, вот и в депутатах государственных хаживал...

— Сей знак свидетельствует о моем депутатском звании, коего я не лишен и поныне, — и Падуров показал Пугачёву висевший на груди золотой жетон Большой комиссии.

— Добро, добро! — Пугачёв, наморщив нос, с любопытством рассматривал значок, даже поколупал его ногтем. — А я в таких книжных людях, как ты, нужду имею шибкую, полковник. Служи!

— Усердно благодарю, ваше величество, — откликнулся Падуров. — Готов служить.

— Ну, а чего да чего ты в депутатах делал-то? — спросил Пугачёв, расстегивая ворот и отдуваясь.

Падуров, не торопясь, начал рассказывать о том, как в 1767 году повелением Екатерины созвана была в Москве Большая комиссия для выработки

Нового уложения, то есть основных законов. В Москву съехалось тогда пятьсот шестьдесят четыре депутата. Вот в их-то числе и был депутатом от Оренбургского войска сотник Падуров. Заседания Большой комиссии продолжались целых шестнадцать месяцев. За это время Падуров познакомился со многими депутатами, почасту беседовал с ходоками-крестьянами из разных мест России. Пребывание в Москве, по словам Падурова, пошло ему на большую пользу: увеличились его знания о бесправном положении крепостных крестьян и заводских работных людей, о роли вельмож в стране, а также крупного и мелкопоместного дворянства, о торговом сословии.

— Одним словом, ваше величество, чрез депутатство свое я совсем иным человеком стал. Будто бы с горы высокой посмотрел на жизнь отечества своего... Раньше-то ко всему равнодушен был и никакого любопытства к жизни не имел, жил и жил, как дикий козел в степу. Опосля того задумываться начал — что, да почему, да нельзя ли, мол, каким-либо способом рабскую жизнь нашу хотя бы на малую толику облегчить.

— Во! — вскинул Пугачёв указательный палец. — Дело балакаешь, полковник, дело!

— А сняли бельма с моих глаз два офицера-депутата — век не забуду их — Козельский да Коробьин. Светлые головы, дай им

бог! Они за мужика, ваше величество, стояли, да ведь как! Без трусости, без малодушия. Опречь того много вольных речей и от прочих депутатов наслушался я...

— Ишь ты, ишь ты, — поддакивал Пугачёв, то прищуривая, то открывая правый глаз.

— Матушка Екатерина уж и сама не рада стала, что народ с России собрала да допустила говорить по-людски. А испугавшись, повелела работы Большой комиссии закрыть якобы по причине начавшейся войны с Турцией, — вздохнул Падуров.

— Коварница... Ах, коварница... Да ведь я знаю её хватки-то лисьи, знаю, как она хвостом-то долгим следы горазда заметить.

— Правда ваша, государь. И промеж депутатов оное мнение о матушке втайне разглашалось. И ничего путного из её затеи не вышло: поводила-поводила депутатов за нос да и по домам отправила. Но все же, я чаю, мозги-то у многих через пребывание в Москве проветрились. А сие, государь, России на большую пользу.

Пугачёв молчал, присматривался к темноусому статному Падурову, как бы взвешивая: хитрит казак или и впрямь душу открыл настежь. «Нет, кажись, нашего поля ягода», — подумал Пугачёв и молвил:

— Я окраину эту оренбургскую не больно



явственно знаю, не бывывал здесь. И выходит шибко пакостно: замест того, чтобы армию свою вести, плетусь туда, куда ведут меня. А гоже ли это, подумай-ка, полковник?

— Сие дело поправимое, ваше величество. Дозвольте... — Он заглянул в один шкаф, в другой шкаф, порылся на полках, вытащил кучу чертежей и, найдя нужную карту, раскинул её перед Пугачёвым.

— Вот план расположения сторожевых линий всего Оренбургского края.

Глаза Пугачёва пытливо насторожились. Он с напряжением принялся слушать казака, вникая в каждое его слово.

— Вот это город Оренбург с крепостью.

— Где? — Пугачёв, посапывая, уткнулся в план.

— А вот! — указал карандашом Падуров. — Извольте видеть... На запад от Оренбурга идёт самарская линия укреплений до самой Самары.

— Где Самара?

— Вот Самара. От нее идут крепости Борская, Бузулукская, Сорочинская, Чернореченская и другие вплоть до Оренбурга.

Пугачёв долго рассматривал местоположение этих «фортеций». Падуров далее стал указывать на линию крепостей к югу от Оренбурга, через Яицкий городок до Гурьева у Каспийского моря, и к западу

— до крепости Орской.

— Всего тогда было выстроено, государь, сто четырнадцать укреплений.

— Скажи на милость, сколь много... Сто четырнадцать! — воскликнул, подняв брови, Пугачёв. — А вот ответ мне, кто оные крепости строил, когда и по какой нужде? Я чаю, уж не Петр ли Великий, дедушка мой, спроворил?

Падуров покосился на «внука» Петра Первого, сказал:

— Нет, государь. Почитай, все крепости и самый город Оренбург основал лет тридцать тому назад начальник Оренбургского края, генерал Неплюев.

Тогда этот край только-только завоеван был нами. А ради чего строились тут крепости, доложу вашему величеству как ни то после, ныне же страшусь притомить вас, разговор долог будет...

— Толкуй безотложно... Открой мне очи! — Пугачёв смутился слетевшим с языка признанием темноты своей и опустил взор. Затем взглянул на собеседника и, видя все то же, исполненное доброжелательством, лицо его, заговорил потеплевшим голосом:

— Я, ведаешь, во дворце-то многому учен, да, горе, — не тому, чему надобно. А как, чуешь, довелось мне от Гришки Орлова бежать да сколько лет по Руси-то во образце мужичьем скитаться, так

я, веришь ли, все перезабыл. Не токмо разные там хитрые науки, а и по-немецкому байкать запамятовал. Во, брат Падуров, как!.. Ну и напередки скажу тебе: не жалею об этом... Не жалею и не жалею, — повторил он и глубоко, всей своей широкой грудью передохнул. — Я, брат Падуров, как в народе жил, таких наук набрался, что они там, в Питере-то, во дворцах-то, чихать смущаются... от моих наук-то. Я всю Россию на них опрокину! Наука у меня твердая! Ась, ась?

Он все еще не спускал с Падурова пристальных, как бы выщупывающих глаз. Падуров чувствовал, что ему немедля нужно успокоить этого насторожившегося человека. Да, успокоить, заверить его в своей преданности. И, чуть помешкав, он сказал, глядя, как в бездонный колодец, в большие темные глаза Пугачёва:

— Я так полагаю, ваше величество, что и дед ваш, Петр Первый, тем и могучен был, что народа не гнушался и, подобно вам, от народа сирого науки перенимал...

— В прицел, в прицел брякнул! В самый прицел! — обрадованно закричал Пугачёв и всем корпусом отвалился в кресло. — Ну, сыпь дальше, сказывай.

— Как только Оренбургский край был завоеван, начался грабеж местных земель русскими промышленниками. Взять, к примеру, Белорецкий

завод братьев Твердышевых. Оный завод купил у башкир семьсот тысяч десятин земли с лесом и без леса за шестьсот рублей, то есть за тысячу десятин уплатил меньше чем по рублю, или за медную копейку — двенадцать десятин.

— Ая-яй... Пошто же они, дураки, за такую пустяковину продавали-то?

— Насильно, ваше величество. А которые не соглашались, тех в тюрьму.

— Ах, трясучка их забори... Злодеи... — причмокивая, Пугачёв сокрушенно покачал головой.

— Опричь того, насмелюсь сказать вам, что татарская беднота страдает, пожалуй, еще горше, чем башкирская. Богатые татары-помещики, ваше величество, владели огромными землями, правительство закрепощало за ними землепашцев-татар, — продолжал Падуров. — Наиболее богатые помещики-татары возводились в дворянское достоинство.

— Ишь ты, богатые возводились, — желчно сказал Пугачёв. — А вот мы бедных учнем возводить! А всех великих графов, злыдней проклятуших, на рели вздернем! — И Пугачёв пристукнул кулаком в столешницу.

Падуров, не торопясь, рассказал Пугачёву, что и прочим народностям живется тоже несладко. Недаром всего лишь два года тому назад сто

семьдесят тысяч калмыков, покинув родные степи, откочевали в Персию.

— Видать, на тутошних раздольных степях только богатым просторно жить-то, а бедному люду... тово... шибко ужимисто.

— Так, государь, — склонил Падуров голову. — Такожде тесно и на Южном Урале, где вельможи да купцы начали заводы строить. Горные промыслы год от году приумножались, а посему и земля под заводы все больше да больше урезывалась у башкирцев. Особливым же хищником был граф Петр Шувалов с родственниками да приспешниками.

— Ну вот, ну вот, — сказал Емельян Иваныч и, опустив подстриженную «в кружало» голову, отдался малое время раздумью. — Все иноверцы, такожде и мужики русские, — проговорил он, — шибко утесняются правителями, да барами с купечеством, да судьями лихими. Люто претерпевает народ. Эх, ты, горе, горе! Слышь, полковник... Вот ты про башкирцев сказывал. Это когда же у них растатурица-то была, мутня-то.

— А последнее восстание возгорелось, ваше величество, двадцать лет тому назад. Обиженные башкирцы по душевной простоте верили в могущество императрицы Елизаветы, что даст им заступление. Они трижды засылали к ней депутацию, но всякий раз депутатов схватывали

еще в Башкирии, местные власти срубали им головы. После сего мулла Батырша Алеев разъезжал по Башкирии, подбивал башкирцев да татар с киргизами на священную войну против поработителей. Тогда оренбургский губернатор Неплюев, скопив военную силу, измыслил натравить народ на народ. Когда башкирцы и киргизы затеяли меж собою распрю, генерал Неплюев этим коварно воспользовался. И восстание было потоплено в крови. Погибло тогда шестнадцать тысяч убитыми, четыре тысячи брошено было в тюрьмы, у трехсот человек отрезаны носы и уши, семьсот деревень сожжено.

— Так, так! Хм... — угрожающе вымолвил Пугачёв, набрал полную грудь воздуха, надул щеки и с шумом выдохнул.

— Вот, государь, как доднесь обстоит дело, — закончил Падуров. — А башкирцы да и другие народы, я сам слышал, давно толкуют промеж собой:

«Носится, мол, слух, будто на государственный престол мужской пол возведен будет замест бабьего. В то время, мол, какой ни есть милости просить постараемся. И что мужской пол царских кровей — это, мол, спасшийся от смерти император Петр Федорыч Третий».

Пугачёв согласно кивнул головой и, все так же отдуваясь, медленно прошелся по канцелярии.

— Приготовьтесь, государь! — с волнением возгласил Падуров. Ему вспомнились громкие складные речи знаменитого князя Щербатова в московской Грановитой палате, и, выбирая слова, он произнес приподнятым голосом:

— Думается мне, что шествие вашего величества яко царя и заступника всех обиженных будет зело успешно.

— Благодарствую, полковник, благодарствую, — сказал Пугачёв, растроганный сердечными словами Падурова.

Наступило недолгое молчание. Пугачёв, прищурившись, пристально глядел в сторону. Под впечатлением только что слышанных слов в его сознании вдруг возникла картина: широкая степь, вдали лесистые горы, изжелта-красный шар солнца падает на край земли, и некий живой поток быстро несется по коричневой степи от солнца к Пугачёву. Вот поток ближе, больше, шире... И вьется... облаками пыль, и топот гудит над степью. Это — дикие, гривастые кони, распушив хвосты, закусив удила и всхрапывая, мчат на своих хребтах несметные полчища всадников. Ближе, шире, громче... Стоп!.. Пугачёв, как в саду, в обстании цветов всех красок: яркие маки, желтые кувшинки,

тюльпаны, васильки. Это бронзовые быстроглазые люди в цветистых халатах, в тюбетейках, в меховых малахях на бритых головах радостной ратью окружили Пугачёва. «Детушки, верные башкирцы, будьте со мной, я осушу слезы ваши!»

— «Бачка-осударь, веди нас, куда хочешь!» И степь задрожала, и солнце остановилось от воинственных кликов. «Детушки, верные мои народы...» — начал было Пугачёв, но обольстительное видение дрогнуло и, подобно степному мареву, исчезло.

— Ась? — произнес, встряхнувшись, Пугачёв и стал собираться. — На-ка ключ, отомкни вон тот поставец да подай сюда сумку с золотом.

Когда приказ был исполнен, Пугачёв сорвал с сумы печати, а суму протянул Падурову:

— Бери, друг, сколько надо... Да бери больше на расходы на твои. Люб ты мне!

Темные обветренные щеки Падурова вспыхнули.

— Нет, ваше величество, — потряс он головой. — Видно, еще не все дворцовые науки вами забыты, — он угрюмо глядел на Пугачёва и не прикасался к червонцам. — Не гневайтесь, государь, но слово мое такое: я живота и помыслов своих на червонцы не перекладаю!

Пугачёв в упор смотрел на него, затем сказал:

— Спасибо, брат Падуров, спасибо. Первый



ты не погнался за корыстью.

И коли так, вот тебе моя государева рука! —  
И он крепко-накрепко обнял его.

Растроганный Падуров долго молчал.

## Глава 8

### На Москву или на Оренбург? В Каргале. Тайные подруги

#### 1

Утром было совещание: куда идти дальше?

Военный совет заседал в той же комендантской канцелярии. Накануне ночью было немало выпито вина. У всех трещали головы. Зарубин-Чика нет-нет да и клюнет носом и со страхом выпучит глаза на государя.

Первым говорил Падуров. Он сказал, что от крепости Татищевой лежат две дороги: на Оренбург и на Казань. По его мнению, с Оренбургом возиться нечего, город сильно укреплен, да и на кой прах, по правде-то сказать, он нужен? А надо идти прямо на Казань, на Волгу. Скорей всего, что там армия государя быстро станет обрастать народом, пристанут крестьяне, волжские бурлаки да башкирцы, поднимутся татары, и тогда, усилясь, можно-де смело повернуть на Нижний, а там — и

на Москву. Зело важно застать правительство врасплох, пока оно не очухалось, пока не собрало для отпора нужные воинские части. И вот тогда-то правительству поистине-де будет худо, потому что все императрицыны войска ныне угнаны в Турцию. А ежели засесть под Оренбургом, то еще неизвестно, скоро ль доведется сей крепкий орешек раскусить. И в случае долгого сиденья под Оренбургом правительство-де употребит это время себе на пользу, оно даже может заключить скороспешный мир с Турцией и двинуть против государевой армии свои освободившиеся полки.

— Мой совет брать путь на Казань, — заключил он.

— Ну нет, дружок, Тимофей Иваныч, — сразу же стали возражать ему атаманы, есаулы и полковники. — Как это возможно, чтобы наш главный город Оренбург мимо пройти. Да нас галки засмеют за такое дело-то! А Казань да Нижний не уйдут от наших рук, и Москва не уйдет. Башкирцы же с кочевниками сами сюда привалят всем гамузом... Перво-наперво Оренбург надо сокрушить, чтобы Рейнсдорпишка в спину нам не вдарил. Вы что, Тимофей Иваныч?!

— Добро, добро, — подтвердил Пугачёв, — сия военная тактика завсегда может приключиться. Мы пойдем, а он, немчура, и саданет нам в зад.

— Нечем ему будет садануть-то, ваше

величество, — хмуро сказал Падуров.

Споры обострились. Горбоносый атаман Овчинников, покручивая кудрявую, как овечья шерсть, бороду, крикливо говорил:

— Мы, братцы казаки, в случае лихо приспеется нам, можем от Оренбурга-то откатиться, хвосты в зубы да и наутек — либо в Золотую Мечеть, либо в Персию, либо в Туретчину, куда и сам батюшка звал нас. А ежели под Казанью захряснем, ну уж не прогневайся, уж оттуда, чтоб утечь, таких не будет способов. Окромья того, Оренбург давит да душит нас, прямо за горло берет. В первую голову боем его взять треба. Без Оренбурга нам не быть!

— Ну, а ты как думаешь, Максим Григорьич? — спросил Пугачёв умного Шигаева.

Тот поднялся, высокий, сутулый, с надвое расчесанной темно-русой бородой, и, покашливая, тенористо заговорил:

— Что ж, ваше величество... Нам на Москву начхать, да и на Питер начхать! Да, может, нам и средствиев никаких не хватит на Москву-то поход чинить. А нам, всем казакам вкупе, желательно бы свое казачье царство иметь, с казацкими свычаями древними, с вольной волей казацкой, и чтобы столицей нашей был вольный город Оренбург. Вот как, ваше величество, старики наши и все казачество желало бы. Да ведь и сам ты, батюшка,

пленных солдат в казаки писать повелеваешь. Да и в армии своей ты не регулярство, а казацкое войсковое строение заводишь, согласуемо обычаям древним. Об чем еще деды наши при Степане Тимофеиче Разине мечты имели!

— Не толико ваш край, а и всю Россию я чаю в казаки поверстать, — сказал Пугачёв.

— А уж это как придётся, — боднув головой, не утерпел съязвить сухощекий, плешивый Митька Лысов. — Вон и Разин Степан оное мечтание держал, а что случилось?

Пугачёв с неприязнью покосился на него.

Падуров крутил и покусывал свои молодецкие усы, затем сказал в сторону Шигаева:

— Врага нужно поражать в сердце, Максим Григорьич. А твой Оренбург — ноги.

— Нет, не ноги, Тимофей Иваныч, нет, не ноги, — обидчиво ответил Шигаев и покашлял. — Петербург с Москвой есть голова, а Оренбург — сердце.

Ведь за Оренбургом-то вся Сибирь лежит...

— Оренбург погоды не делает, да и сделать николи не сможет. Оренбург окраинская сторона, и не в Оренбурге суть, — с дрожью в голосе высказывал Падуров.

— Обидно слышать это от тебя, Тимофей Иваныч, — заговорили вокруг с упреком. — Ведь ты сам казачьего роду-племени, а балакаешь, аки

москаль какой.

Стало тихо. На дремавшего Чику напала икота. Он выпил ковш воды и смочил голову.

— Ну, а ты, стар человек, как полагаешь? — нарушив молчание, спросил Пугачёв есаула Андрея Витошнова.

Скуластый сухой старик с седоватой бородой, посматривая исподлобья на Пугачёва, робко ответил:

— Куда поведете, батюшка, верное воинство свое, туда и мой конь побежит.

Все бывшие в свите стали упрашивать государя принять путь к Оренбургу.

Пугачёв с ответом замешкался.

Доводы Падурова были более понятны и близки его горячему сердцу, чем упрямое желание приближенных. Однако и речи Овчинникова о том, что в случае неудачи можно от Оренбурга в Туретчину и в Персию податься, тоже казались Пугачёву резонными. Но главное — у него не было охоты вступать в раздор с большинством. Он сказал:

— Немедля идти под Казань было бы куда складнее, господа атаманы. Ну, ежели ваше общее намеренье Оренбургу осаду со штурмом учинить, я, великий государь, супротивничать не стану вам.

Свита поклонилась государю. Подвыпивший Чика встал, ударил шапкой о ладонь и с пьяной

горячностью сказал:

— Ваше величество, отдели мне сколько ни то войска. Я один на Казань пойду!

— Иди-ка ты, Чика, не на Казань, а на сеновал... Проспись, — со строгостью посмотрев на лупоглазого цыгана Чику, сказал совсем не строго Пугачёв.

Пугачёвцы прожили в Татищевой трое суток. Проводили время весело, в гульбе. Забрав лучшие по всей яицкой линии пушки, амуницию, провиант, вино, соль, деньги, они двинулись к Чернореченской крепости.

Комендант крепости Краузе загодя скрылся в Оренбург, а крепость встретила Пугачёва с честью.

На роздыхе явилась к Пугачёву дворовая девушка капитана Нечаева, взятого в плен в Татищевой. Ей было лет под тридцать. Высокая, ядреная, чернобровая — кровь с молоком, — она кувырнулась Пугачёву в ноги и завыла.

Пугачёв приказал ей подняться, спросил, как звать её и что ей надо? Она встала, сказала, что зовут её Ненилой и что её шибко тиранствовал барин офицер Нечаев. Сказав так, она снова кувырнулась в ноги. Пугачёв спросил:

— Как же ты, этакая крепкая да гладкая, барину-то поддалась?

— Да ведь я-то гладка, а он, пес, того глаже... Изгалялся всяко, плетьми стегал.

Пугачёв приказал разыскать капитана Нечаева и вздернуть. Ненила в третий раз кувырнулась Пугачёву в ноги:

— Спасибо, надежа-государь, заступничек наш... Уж не оставь меня рабу.

— Куда же мне тебя приделить-то? — в раздумье промолвил Пугачёв. — Погодь, погодь... А смыслишь ли ты, Ненилушка, щи да кашу варить, ну там еще разные царские блюда, вроде кукли-цукли всякие, меринанцы...

Ненила утерла широкие губы, весело сказала:

— Кашу да щи завсегда сварю... Я, чуешь, управная.

— Так будь же моей стряпухой, потрафляй мне.

Ненила еще раз повалилась Пугачёву в ноги.

Обращаясь к старику Почиталину, которому были вручены ключи от склада, Пугачёв сказал:

— Слышь, Яков Митрич! Приодень возьми девку, сарафанишко какой ни то дай поцветистой да ленточек, бабы это любят, да отведи, слышь, в палатку мою. Пущай она мне да заодно и барыньке Харловой услужает.

## 2

До Оренбурга оставалось всего около тридцати верст. Если б Пугачёв не провел зря

четверо суток в Татищевой да в Чернореченской, он легко мог бы овладеть не готовым еще к обороне Оренбургом. Однако использовать столь удобный случай Пугачёвцы прозевали.

Известие, что Татищева крепость пала, привело Рейнсдорпа в испуг.

Сильная крепость, надежный оплот Оренбурга, в руках разбойников! Нет, это нечто невероятное... «О, какой катастрофа! Этот Вильгельмьян Пугашов вовсе не разбойник, он во много разов лютее разбойника, он со свой сброд коварна шволочь», — по-русски думал он, бегая вдоль кабинета и нервно кусая сухие губы.

Еще 24 сентября Рейнсдорп трем губернаторам — казанскому, сибирскому и астраханскому — отправил бумаги о появлении Пугачёва и об угрожающей всему краю опасности. А 28 сентября, получив сведения о трагической судьбе Татищевой крепости, экстренно собрал военное совещание. Присутствовали: обер-комендант генерал Валленштерн, войсковой атаман Могутов, действительный статский советник Старов-Милюков (бывший полковник артиллерии), чиновники Мясоедов да Тимашев и директор таможни Обухов — люди важные, откормленные, самонадеянные.

Рейнсдорп задвигал рыжими бровями, придал лицу выражение воинственности и начал:



— Господа! Этот, шорт его возьми, касак Пугашов со своя шайка угрожает Оренбургу. И брать его за простой разбойник не есть возможно. Он, шорт его возьми, опасный коварный враг. Это-это так и есть, прошу верить мне, старого вояке. Ну-с... Будем подсчитать, с богом помолясь, наши силы.

Развернули ведомости, сводки. Оказалось, вся Оренбургская губерния охраняется тремя легкими полевыми командами — в них всего 1230 человек — да несколькими гарнизонными батальонами и местным казачьим населением. Эти ничтожные воинские части разбросаны по необъятной территории, и, при сложившихся обстоятельствах, подтянуть их в срок к городу было почти невозможно. Собственно же защитников Оренбурга числилось всего 2900 человек, из них регулярных войск не более 174 человек, да гарнизонных солдат (большинство престарелых и калек) 1314 душ. Остальные — казаки, инвалиды, обыватели и еще 350 татар, на верность коих было опасно положиться.

Решили, что со столь малыми силами нечего и пытаться вступать с мятежниками в открытый бой, а дай бог как-нибудь отсиживаться в крепости, пока не придёт выручка извне.

О количестве мятежников сведений у Рейнсдорпа не было. Однако предположительно

говорили, что Пугачёв располагает по крайней мере тремя тысячами конников и многими пушками. А главная беда в том, что силы злодея все возрастают. Так, было оглашено донесение, что пятьсот башкирцев, высланных из Оренбурга в помощь Татищевой крепости, подобно отряду сотника Падурова, целиком передались мятежникам.

— Вот вам! — воскликнул Рейнсдорп и снова, и снова тянулся к табакерке. Кончик белого носа его от частых понюшек стал коричневым, покрытые веснушками щеки покраснелись.

Постановили тотчас отправить приказ начальнику Верхне-Озерной дистанции, бригадиру Корфу, чтоб гарнизон и орудия как Пречистенской крепости, так и уцелевших от мятежной заразы форпостов немедленно были направлены в Оренбург.

Вторым пунктом постановили: все мосты через Сакмару разломать, кояги и лодки сжечь, дабы неприятель употребить их для себя не мог. Далее было постановлено привести артиллерию в исправное состояние, подчинив её Старову-Милюкову; разночинцам, имеющим ружья, назначить места для обороны крепости, а безоружных определить для тушения пожаров; при сем «дать обер-коменданту строгий приказ, чтобы никто из тех мест, где кто назначен, отнюдь не отлучались, хотя бы и пожар собственного дома увидели!»

Совещались без перерыва с утра до вечера, съели тут же за столом два больших пирога с осетриной, много выпили квасу и воды с вареньем. В канцелярии от табачного дыма сизо, окна закрыты наглухо — губернатор боится простуды. Для очистки воздуха кривой казак затопил печь камышовыми дудками. Губернаторша дважды присылала мужу микстуру от геморроя и подагрические капли. Лекарства подавал на серебряном подносе бравый лакей из польских конфедератов, в галунах и свежих перчатках.

С башенки над зданием гауптвахты раздался мелодичный бой курантов, пробило восемь часов. Все утомились, стали впадать в легкое обалдение; губернатор, а за ним и другие, прикрываясь ладонями, сладко позевывали.

Но вот все ожило. За окнами слышались многие голоса, топот, пофыркивание и ржанье коней. Все бросились к окнам. Через площадь двигалась в беспорядке конная небольшая толпа сеитовских татар, два дня тому назад посланных из Оренбурга в количестве трехсот человек на помощь Татищевой. Из лачуг, домов, домишек выбегали жители, с любопытством расспрашивали возвратившихся, что, как и почему вернулись.

— Кудой дела! — кричали с коней гололобые татары, — кудой дела!

Татищева горит мало-мало, начальство

секим-башка, Чернореченский крепость забирал сапсем... Ой, бульно кудой дела...

— Чернореченская сдалась, что ли?

— Сапсем сдалась!..

— А чего мало вас? — не отставали жители. — Злодей, что ли, перебил?

— Пошто перебил... Мало-мало наша сеитовцы ихний толпа побежалъ... Сэ равно ветер — жжих! — и нету... Сто, да ешо полста... э... Яман-дело!

Начальство, прильнув к окнам и чуть приоткрыв рамы, в угрюмом молчании прислушивалось к говору улицы.

— Фу-у... Слыхали? Вот вам... Каша заваривается не на шутку, — отдуваясь, проговорил хриплым басом тучный директор пограничной таможни Обухов. — А где же его высокопревосходительство? Где Иван Андреич?

Губернатора в канцелярии не было. Сторожа зажигали в шандалах свечи.

Меж тем Иван Андреич Рейнсдорп, как только услышал о падении Чернореченской крепости, незаметно и с великой поспешностью вымахнул из канцелярии и через остекленный переход, соединяющий присутственные места с апартаментами, чуть не вприпрыжку побежал к себе в покои.

Покинутые губернатором начальствующие

лица, водившие между собой крепкую дружбу, принялись взволнованно из угла в угол вышагивать. То закинув руки за спину, то с жаром жестикулируя, они стали костить губернатора, обмениваясь сначала негромкими отрывочными фразами, перешедшими затем в горячие, полные желчи откровенные высказывания. Да как же, помилуйте! Творится нечто необычное. Горсть яицких казачишек-бунтарей передалась разбойнику. Вот тут-то сразу и нужно было раздавить этот ничтожненький бунтишко. А что сделал губернатор? Вместо энергичных действий он задавал пиры, похваляясь своим военным гением. Ха! Гений...

Геморроидальная шишка, плясун, бабник. Загородные дворцы себе строит на казенный кошт, рабов закабалит... Острожник Емельян Пугачёв больше месяца в его губернии шатается, а он и сном-духом не ведал об этом. Вот теперь дождался гостя, теперь узнал! Поди-ка сунься! И вы заметили, господа, что Рейнсдорп перестал Пугачёва разбойником ругать, а величает: «неприятель»?

И воистину, какой же разбойник, ежели крепости ему сдаются, башкирцы с татарами бегут к нему, даже Падуров, уж на что был надежный человек — депутат, сотник, человек толковый, книжный, — и тот не постыдился передаться

самозванцу. Да, господа, враг у ворот, а мы к его встрече не готовы. А кто в сем повинен? Иван Андреич Рейнсдорп.

— Его высокопревосходительство просит вас, господа, проследовать в его опочивальню, — звонко прокричал с порога адъютант.

Губернатор принял их, лежа в кровати. На голове белый колпак с розовой кисточкой, на курносом лице болезненная мина. Начальствующие подобный прием справедливо считали для себя оскорбительным; они друг с другом переглядывались, пожимали плечами. Тучный Обухов сердито пыхтел, намереваясь тотчас же удалиться.

— Извиняйт, господа, — слабым голосом проговорил губернатор. — Маленечко... как это, как это... занедужился, эскулап уложилъ немного в постель. Садитесь, господа. (Все сели, хмурые, обозленные.) Итак, господа, мне только что доложил сотник сеитовских татар Мустафанов, что неприятель занял Чернореченскую. О, какой несчастье!

— А кто ж виноват, ваше высокопревосходительство? — шумно сопя, начал директор таможни Обухов. — Не наш ли штаб виноват, дав врагу время столь много усилиться?

— Ви, любезный Митри Павлич, хотите сказать — винофат губернатор Рейнсдорп? —

Опершись о стол волосатыми кулаками, губернатор быстро приподнялся. — Да, может быть... Но мой поступка критиковать никто не имеет права, кроме... кроме её величества, государыни императрисс...

— А равным образом и Военной коллегии во главе с графом Захаром Григорьевичем Чернышевым, — колко сказал обер-комендант генерал Валленштерн, зная неприязненное отношение к Рейнсдорпу графа Чернышева.

— Шо, шо? — завертел головой оскорбленный губернатор. — О, мы с граф Чернышеф старинный друзья, чтоб не сказать боле... Итак, господа, враг у ворот...

— У гнилых ворот, ваше высокопревосходительство, — добавил неожиданно и резко Обухов. — Крепость как следует принять врага не готова...

— Шо? — Глаза губернатора стали злыми, он сорвал с головы колпак и бросил его в ноги. — Итак, враг у ворот. Но ви не трусьте, ви держите большой надежда на мой предостаточный военный опыт. В мой голова двадцать прожект, самых оччень хитрых. Я его, сукин кот, ату-ату! Чрез двух недель эта самая царь Петр Федорыч, шорт его возьми, будет на цепочка приведен сюда, и мы на площадь при весь народ отрубим его дерзкий голофф... — Лицо губернатора покраснелось от

внутреннего возбуждения и резких воинственных жестов руками. Он устало выдохнул воздух и снова прилег. Рыжие, с сильной проседью, завитушки волос свисли на выпуклый лоб его.

Едва сдерживая едкие улыбки и только краем уха вслушиваясь в болтовню губернатора, начальствующие лица с немалым любопытством осматривали богатое убранство спальни. Стены обиты светло-розовым персидским шелком, резная, под слоновую кость, искусной работы мебель, над кроватью пышный балдахин, увенчанный золоченым толстощекимым купидоном. Венецианское зеркало, севрские умывальные приборы. Под расписным потолком два хрустальных, французской работы, фонаря. Драгоценные персидские ковры на полу. Всюду расточительная роскошь, великолепие.

«Казна-матушка все стерпит», — думали начальствующие лица — иные с болью и тревогой в сердце, а кто и с плохо скрываемой завистью.

— Ждем ваших распоряжений, генерал — сказал, подымаясь, плотный, пучеглазый Валленштерн.

— Извольте, господа, оччень мало отдохнуть, — сказал он, — и после сего приступить осмотр крепость, сами тщательный, сами аккуратный.

— Как? Ночью?



— Ночь! Ночь! С факелами. Время военный. Каждый минут оччень дорогой.

И чтоб вся инженерская команд была с вами. Господин адъютант, распоряжайтесь через три часоф мне экипаж... Я сам приму распорядок осмотра.

### 3

Рейнсдорп страшился, что со столь малым числом защитников крепости ему будет трудно оборонять Оренбург от Пугачёва. А Пугачёв, как раз наоборот, считал, что с его слабыми силами нечего к Оренбургу и нос совать. Именно поэтому Емельян Иваныч охотно принял приглашение жителей татарского селения Каргалы не оставить своей царской милостью и навестить их. Вот и хорошо. Пожалуй, часть татар воссоединится с ним. А из Каргалы он махнет в Сакмарский городок, населенный яицкими казаками. Нет сомнения, что и те примут его руку. Вот тогда-то уж можно будет и Оренбургу приступ учинить.

— Нам, господа атаманы, силы свои скоплять надо. Сего ради умыслил я идти в Каргалу да в Сакмарский казачий городок.

Пугачёвцы ехали то глинистой, то солончаковой степью с невысокими гривками и сыртами. Слева были видны в далеком мареве

сизые отроги гор.

День выдался солнечный, по-осеннему свежий. Суслики и тушканчики, покинув норы, грелись на солнце. Завидя шумную ватагу, они приподымались на задние лапки, с любопытством вытягивали мордочки навстречу всадникам, принюхивались и, лукаво засвистав, ныряли в норки. Эти певучие посвисты, похожие на веселую игру, сопровождали Пугачёвцев всю дорогу.

Вдруг Пугачёв засуетился, закричал ехавшему с ним рядом старику Почиталину:

— Дай, дай скорей! — и сорвал с его плеча ружье.

Орел-стервятник, кружившийся над степью, враз сложил крылья и камнем пал на зазевавшегося суслика. Ударил смертельный выстрел. Видевшие это казаки радостно захохотали:

— Ой, надежа-государь!.. Вот это вдарил!.. По-царски!

Пугачёв, возбужденно улыбаясь, передал ружье Почиталину. Чубастый горнист Ермилка уже волок за ноги большую, с доброго барана, птицу.

— Куда прикажешь, ваше величество, курочку-т? — зашлепал он толстыми губами и в простодушной улыбке растянул рот до ушей.

— Ощипли да покроши во щи... Видать, курица навариста, — развеселясь, засмеялся Пугачёв.

Обласканный вниманьем государя, захлебнулся хохотком и казак Ермилка.

Его узенькие глазки утонули в мясистых, нажеванных щеках. Облизываясь и пофыркивая, он с гордостью косился на молодых казаков: мол, смотрите, каков я, самого государя в смех вогнал. Глядя на государя и на Ермилку, ближние шеренги конников тоже улыбались: было всем приятно, что государь не гнушается пошутить с простым казаком.

Пугачёв, прищулив правый глаз, покосился на фэтон с Харловой, её малолетним братишкой Колей и Ненилой. Фэтон, сверкая на солнце лакировкой, двигался по гладкой луговине в стороне от дороги — там не так пыльно. Рядом с фэтоном ехал на крупном коне полковник Падуров. Он пытался завести разговор с Харловой, но та молчала, понуро опустив голову.

Измученные, покрасневшие от слез и бессонницы глаза её были обведены темными тенями. Время от времени оборачиваясь в сторону чернобородого царя, Падуров издали кидал на него конфузливые, опасливые взгляды: а вдруг «батюшка» из пустяковой ревности вознегодует на него? В сердце Пугачёва действительно вскипала временами не то что ревность, а нечто близкое к досаде супротив бабьего угодника Падурова, но он всякий раз подавлял это чувство. Да и стоит ли

беспокоиться из-за этой неподатливой барыньки?

Недотрога, плакса, капризница! «Я к ней с лаской, а она, знай, слезами умывается... Смотрю, смотрю, да и выгоню в три шеи. Чистоплюйка, черт...»

— Слышь, горнист! Ты покажи-ка эту курочку Лидии Федоровне да мальчонке ейной. Пущай подивятся.

— Федоровне? — переспросил Ермилка Пугачёва. — До разу... — и, тряхнув чубом, тронул свою лошадку.

Пугачёв видел, как Ермилка подъехал к экипажу, бросил орла в ноги женщинам и, то ударяя себя в грудь, то оборачиваясь и тыча в сторону Пугачёва, с жаром что-то говорил.

Харлова резко отвернулась, сидевший против нее Коля потрогал орла ногой и с пренебрежением спросил Ермилку:

— Кто, Пугач убил?

— Государь птицу подстрелил. Своеручно...

— Для тебя — государь, для меня — бродяга, — сказал Коля и глаза его сверкнули.

— Молчи, щенка кудой! — прохрипел татарин-возница и, круто обернувшись, замахнулся на мальчишку кнутом.

— Не смей! — крикнул вознице Падуров, а мальчонке крепко погрозил пальцем.

Харлова, тронув брата за колено, испуганно

запричитала:

— Коленька, умоляю... Будь умница...

У мальчика задрожали веки, чуть покривился рот, он взглянул в побледневшее лицо сестры, всхлипнул и часто замигал, уставясь взором в бегущую под ногами пыльную дорогу. Затем внезапно схватил орла и резким движением выбросил его из фаэтона.

«Змееныш какой», — подумал Ермилка, хотел обругать его, да не посмел из-за Падурова. Но вот Падуров приподнял шапку, с чувством сказал:

«Прощайте, Лидия Федоровна», — и бочком-бочком, стараясь незаметно миновать государя, отъехал к своей части оренбуржцев. Ермилка тоже было собрался поворотить коня. Окидывая простоватым взглядом унылую Харлову и краснощекую Ненилу, он решил, что дородная девушка хотя и перестарок, а много краше барыньки, да и характер у Ненилы куда лучше.

Первого октября, в полдень, каргалинские татары торжественно встречали государя.

Каргала стояла в стороне от тракта, в двадцати двух верстах от Оренбурга. Населявшие её татары были зажиточны, они занимались скотоводством, хлебопашеством и торговлей с хивинцами, бухарцами и прочими соседними азиатскими народами.

В Каргале было около трех тысяч жителей.

Числом построек она мало уступала Оренбургу. Но постройки деревянные, глинобитные, каменных жилищ — наперечет. Избушки, домишки понатырканы, как бог на душу положит. Улочки узкие, кривые, грязные. Сотни псов.

На торговой площади возле мечети разостланы по луговине дорогие ковры, поставлен резной дубовый стул. К подъехавшему государю приблизились два татарина, подхватили его под руки. Вся же толпа татар, сняв шапки, пала ниц, уткнув лбы в землю. Вдали маячили празднично одетые женщины, они не смели приблизиться к священному государеву месту.

— Встаньте, детушки, — сказал Пугачёв, садясь на стул. — Где у вас люди-то хорошие да почтенные?

— Ой, бачка-осударь, все в Оренбург забраны. Валла-билла!.. — ответили татары и стали подходить к целованию государевой руки. Видный старик в чалме и в круглых серебряных очках, прикладывая правую ладонь то к лбу, то к сердцу, вступил с Пугачёвым в разговор. Зажиточный, бывалый, он ездил в Казань, в Москву и в Мекку на поклонение гробу Мухамета, говорил по-русски чисто.

— Весь сеитовский татар с Оренбургу к тебе, бачка-осударь, убежит, — сказал старик. — Да и отсель бульно много наших правоверных за тобой

собирается. Бульно много.

Вслушиваясь в певучий голос старика, Пугачёв подумал: ежели татары так охотно собираются идти к нему, то, пожалуй, еще охотней пойдут под его знамена столь богатые конной силой башкирцы. Он повернул голову и негромко сказал стоявшему на почетном карауле, с обнаженной саблей, полковнику Падурову:

— Сменись, мой друг, с кем ни то, да возьми с собой Ваню Почиталина, да еще Николаева. Да где-нибудь в избе спроворьте-ка высочайший манифест ко всем башкирцам. Чтобы всем им было ведомо, и пускай всякий без сумнительства и промедления ко мне спешит с конем, а того лучше о-двуконь.

#### 4

Три Пугачёвца и четвертый юный татарин Али, ознакомленный в казанском медресе с мудростью ислама, с жаром стали составлять воззвание к башкирскому народу. Они сидели в просторной и светлой избе родителей Али.

Сначала дело шло туго, но вот мать Али и его сестра, красавица Фатьма, поставили на стол два жбана с крепким кумысом и деревянные крашенные чашки в виде тюбетеек. Отец Али имел двадцать кобылиц, мать славилась умением готовить

волшебный степной напиток.

Фатма была одета в яркий халат, перехваченный по тонкой талии золотистой шелковой, с кистями, шалью, на открытой точеной шее ожерелье из золотых и серебряных монет — русских, персидских, турецких. Матовое, с легким румянцем, лицо её оживлялось сиянием черных глаз. Игривая и сильная, как степная кобылица, она сразу ошеломила влюбчивого Падурова. И все давнишние и недавние его сердечные уколы и царапины в момент иссякли.

Померк в его сознании и печальный облик страдающей Лидии Харловой. Черт возьми, черт возьми!.. Погиб, опять погиб Падуров...

Мать увела девушку. Падуров снова потянулся к кумысу. Стало шумно.

Обсуждалась каждая фраза манифеста, строки все больше и больше словесно расцветали и кудрявились:

«Я во свете всему войску и народам утвержденный великий государь, явившийся из тайного места, прощающий народ, делатель благоденствий, сладкоязычный, милостивый, мягкосердечный российский царь император Петр Федорович, во всем свете вольный во усердии, чист и разного звания народов содержатель».

«...За нужное нашел я желающим меня показать и, для отворения милостивой моей двери,



послать нарочного к башкирской области старшинам, деревенским старикам, малым и большим. Заблудшие и изнуренные, в печали находящиеся, услыша мое имя, ко мне идите... Мне, вольному вашему государю, служа, душ ваших не жалейте, против моего неприятеля проливать кровь, когда прикажется быть готовым, то изготовьтесь».

«...Слушайте! Когда на сию мою службу пойдете, так и я вас помилую.

Ныне я вас жалую даже до последка землями, лесами, жительством, травами, реками, рыбами и хлебом. Как вы желаете, всем вас пожаловал по жизнь вашу, и пребывайте так, как степные звери, в благодеяниях и продерзостях, а я даю волю вам, детям вашим и внучатам вечно».

«...А что точно ваш государь сам идёт, то с усердием осмотра моего светлого лица встречу выезжайте».

«...Кто же, на приказания боярские в скором времени положась, мне изменит, то таковые милости от меня не просите и ко гневу моему прямо не идите».

Вдруг с улицы слышались быстро приближающиеся крики: то ли «ура», то ли «алла» кричал народ.

— Государь к нам едет, — сказал Али. — Мы обедом станем его потчевать.

— Где, здесь? — с изумлением сказал Падуров.

— Тут кудой, теснота, — сказал Али. — Рядом наш большой дом... Там.

Они все поспешно вышли на улицу.

Возле двухэтажного соседнего дома Пугачёв остановился: Али держал царского коня под уздцы, а его отец — старик в чалме, с очками на носу — и еще другой татарин почтительно подхватили государя под руки.

Приподняв занавеску, из-за оконного косяка скрытно пялилась на государя Фатьма. Падуров поклонился Пугачёву и, сказав: «Готово, ваше величество», — подал ему вложенную в конверт бумагу.

Взошли наверх. Женщины, слегка прикрывая длинными рукавами свои лица, кувырнулись государю в ноги. Усталый Пугачёв протянул им для целования руку. Он не обратил на Фатьму ни малейшего внимания. Пройдя в маленькую комнату об одном окне, Пугачёв сел к окну (под его ноги чьей-то волшебной рукой подсунулся коврик) и велел секретарю, Ване Почиталину, зачесть написанное.

— Вот встань-ка рядом со мной, чтоб мне видать было.

Секретарь принялся за чтение. Голос у него выразительный, звонкий.

Пугачёв, перегнувшись, неотрывно следил за строчками, по которым бежал взор секретаря.

— А ну, еще перечти, да не борзась, а с толком...

Продолжая с напряжением следить за строчками и за глазами секретаря, Пугачёв, казалось, старался запомнить каждое произнесенное Почиталиным слово. Затем он взял указ в руки, наморщил лоб и, шевеля губами, сделал вид, что внимательно читает.

— Эх ты! Врачки какие... Падуров, гляди сюды, — сказал он. Падуров стал сзади Пугачёва и, перегнувшись через его плечо, заглядывал в те строки, на кои «батюшка» указывал толстым пальцем. — Вот тут, видишь, сказано: «...услыша мое имя, ко мне идите», а подобает сказать: «идите, мол, конны, а того лучше о-двуконь». Я ж, Тимофей Иваныч, о сем упреждал тебя... Забыл?

— Запамятовал, ваше величество.

— Вдругорядь будь памятливей, взыск чинить учну. А вот, гляди, в этом месте сказано: «Ныне я вас жалую даже до последка землями, лесами» и прочим, прочим — добавить предлежит, «а такожде денежным жалованьем, свинцом и порохом».

Пугачёв указывал строки совершенно точно и читал написанное правильно. Падуров с удовлетворением подумал: «А ведь «батюшка»

грамоте-то не плохо знает». На самом же деле из выкрутасистого, с завитушками, почерка своего секретаря Пугачёв не мог разобрать как следует ни единого слова. Да он и не пытался это сделать: такую писарскую кудрявицу и доброму-то книжнику надо пообедавши читать.

— Немедля прикажи, Тимофей Иваныч, Идыркею перетолмачить на башкирскую статью.

— Слушаю, ваше величество! — ответил Падуров. — Сделаю вставки, что усмотреть изволили, да кой-какие ошибочки письменные я заметил...

Исправить подлежит.

— Сойдет и так, — возразил Пугачёв и почесал в затылке. — Лишь бы явственно было да мысли подходящие... Давилин! — обратился он к дежурному, — а ты, друг мой, коль скоро бумагу перебелят, немедленно отправь её сей же день в Башкирию. А в кое место гонцу скакать, наш хозяин-бабай укажет тебе.

\* \* \*

Сержант Николаев чувствовал себя в этот день отвратительно. С душевным смятением он думал о своей милой Даше. Как-то она там, жива ли, здорова ли, думает ли о нем хоть изредка? Да! Пусть сержант Николаев успокоится: Даша о нем